

ГЕНРИХ
БЁЛЛЪ

Под конвоем заботы



✦ ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА ✦

Зарубежная классика (АСТ)

Генрих Бёлль
Под конвоем заботы

«АСТ»

1979

УДК 821.112.2-31
ББК 84(4Гем)-44

Бёлль Г.

Под конвоем заботы / Г. Бёлль — «АСТ»,
1979 — (Зарубежная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-106126-5

«Под конвоем заботы» — это попытка Бёлля со своих позиций дать ответы на наболевшие вопросы, вставшие перед западным обществом в 70-е годы прошлого века, когда многие до поры скрытые недуги, конфликты и противоречия позднекапиталистического мира вдруг прорвались наружу: сперва, еще в конце 60-х годов, стихийным и, как казалось, необъяснимым «молодежным бунтом», а затем и вспышками терроризма. Проблематика романа позволяет взглянуть на политические потрясения уже почти полувековой давности в свете общечеловеческих ценностей, близких каждому, и именно потому многое в этих потрясениях объясняет.

УДК 821.112.2-31

ББК 84(4Гем)-44

ISBN 978-5-17-106126-5

© Бёлль Г., 1979

© АСТ, 1979

Содержание

Нравственные уроки Генриха Бёлля	5
Под конвоем заботы	9
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Генрих Бёлль

Под конвоем заботы

Нравственные уроки Генриха Бёлля

Время постепенно, но неумолимо отодвинуло от нас даты публикаций первых книг Генриха Бёлля, вышедших в русском переводе в середине 50-х годов минувшего века, отодвинуло и противоречивые 60-е, когда книги писателя издавались у нас исправно, и застойные 70-е, когда их перестали печатать вовсе, а теперь вот норовит отодвинуть в прошлое, в историю литературы, и сами даты его жизни, замкнув их в непререкаемые скобки: (1917–1985). Так сложилось, что в восприятии многих наших читателей старшего поколения имя Генриха Бёлля прочно связалось с периодом послесталинской оттепели, когда отпадали заблуждения и страхи, потрескивал по швам «железный занавес» и ко многому, в том числе и к лучшим достижениям зарубежной культуры, приоткрылся доступ.

Именно в ту пору вошел в нашу жизнь еще почти неизвестный немецкий писатель, поразив вдохновенной поэтичностью и исповедальной честностью размышлений о судьбах своего народа, о трагических и горьких ошибках его недавнего прошлого, о нерешенных и тревожных проблемах его настоящего, о мучительно-нерасторжимой связи настоящего с прошлым, – поразив, наконец, неистовостью стремления во что бы то ни стало сказать правду, как бы она горька ни была, и доискаться до правды, сколько бы ее ни прятали и ни замазывали патокой лжи. Думаю, в те времена не столько художественное мастерство (это само собой, и тут с каждой книгой мы радовались за автора все больше), но именно это вот подвижническое, беззаветное, совестливое служение правде, бесстрашие, с которым художник смотрел в глаза истории, притягивали нас к Бёллю, сообщая нашему отношению к зарубежному автору совершенно особую, теплую, родную краску. Было что-то неопровержимо-поучительное в его нравственной позиции, столь близкой корням и истокам нашей литературы, поучительное и насущно необходимое. Искусство Бёлля вселяло веру, что суверенное бытие личности способно противостоять лжи и тирании, что не бывает свободы вне правды и нравственности.

Читателю, который знаком с Бёллем давно, со времен «Дома без хозяина» (1954) и «Хлеба ранних лет» (1955), «Бильярда в половине десятого» (1959) и «Глазами клоуна» (1963), уверен, не понадобятся никакие предварительные объяснения к этой книге. Его ничуть не смутит, а уж тем паче не остановит некоторая затрудненность первых страниц этого романа, где Бёлль как бы не похож на самого себя, а похож скорее на Фолкнера с его напряженно-монологичной, «круто замешанной», замкнутой в себе и на себе прозой, в мир которой надо проникать с усилием и потом какое-то время в нем обживаться. Такой читатель, не сомневаюсь, и проникнет, и обживется, тем более что сверхусилий от него не потребуется, а Бёлль очень скоро предстанет самим собой, и взволнованные голоса его героев властно втянут нас в орбиту повествования. Такого читателя, возможно, удивит, но не отпугнет необычный для Бёлля выбор главного персонажа этой книги – человека из когорты «сильных мира сего», газетного магната, богача, чьим отнюдь не хозяйским, скорее растерянным и скорбным взглядом нам предстоит поначалу окинуть панораму событий и хитросплетения отношений, где так неожиданно и жестко в судьбах самых близких людей столкнулись разные, подчас непримиримые жизненные позиции, разные нравственные модели существования человека в обществе. Да, прежде Бёлль таких персонажей не слишком жаловал, в его художественном мире они выступали как воплощение всего человечески «неинтересного», как убогие «продукты» социальной мимикрии, унылого и безрадостного приспособленчества –

не в пример людям «простым», по своему социальному статусу «маленьким», но внутренне независимым, а потому сохранившим в себе истинное величие. Читатель, ждущий встречи с такими, привычными и полюбившимися героями Бёлля, не ошибется в ожиданиях и, несомненно, сумеет оценить глубину и своеобразие авторского замысла, которым это наше внутреннее движение от недоуменной тревоги (да тот ли это Бёлль?) к радостному узнаванию (тот! тот самый!) заранее учтено и заложено в динамику книги, где трудности, намеренно созданные при вхождении, на пороге, и последующий наш путь от сложного к простому, от следствий к причинам, от непонимания к ясности помогают воспроизвести и пережить мучительную работу сознания, разрывающего путы лжи, самообмана, умственной неволи ради обретения правды, свободы и достоинства.

Как почти о всяком произведении Бёлля, о романе «Под конвоем заботы» можно сказать, что это книга о немецкой действительности той поры, когда книга создавалась. Можно, ничуть не погрешив против истины, констатировать, что роман вобрал в себя характерные приметы и злободневные проблемы современного западного общества, затронул самые чувствительные болевые точки, в частности феномен терроризма. Можно вспомнить и о том, что в Германии этот роман (как, впрочем, и каждая новая книга писателя) вызвал ожесточенные споры, главное место в которых занимал отнюдь не анализ художественных достоинств или недочетов, а вопрос о том, оправдывает Бёлль террористов или осуждает. Можно, наконец, обратить внимание читателей на то обстоятельство, что избрание главного героя романа на пост президента некоего Объединения – деталь чрезвычайно значимая, в ней распознается намек на судьбу Ханса Мартина Шляйера, главы объединения немецких предпринимателей, сперва похищенного, а затем убитого террористами. Есть в книге и другие, прямые и косвенные отсылки к конкретным событиям, связанным с деятельностью печально известных «красных бригад» в 70-е годы. Стоило бы, наверно, порассуждать и о степени достоверности изображенных в книге «мер безопасности», упомянув об интервью Бёлля, данном вскоре после публикации романа, в котором писатель в ответ на вопрос, где здесь кончается правда и начинаются сатира и гротеск, поведал много интересного и поучительного о своих наблюдениях за жизнью западногерманских политиков, заметив в заключение, что, видимо, по части «мер безопасности действительность западных стран в скором времени обгонит любую сатиру».

Для понимания того, как прозвучал роман на родине автора в 1979 году, в пору его выхода в свет, все эти сведения, вероятно, важны. С другой стороны, роман нисколько не потеряет в глазах тех, кому нет дела до страноведческих подробностей. Как и всякое большое искусство, искусство Бёлля силой художественного обобщения легко преодолевает национальные и временные границы.

Да, в каком-то смысле роман «Под конвоем заботы» – это попытка Бёлля со своих позиций дать ответы на наболевшие вопросы, вставшие перед западным обществом в 70-е годы прошлого века, когда многие до поры скрытые недуги, конфликты и противоречия позднекапиталистического мира вдруг прорвались наружу – сперва, еще в конце 60-х годов, стихийным и, как казалось, необъяснимым «молодежным бунтом», а затем и вспышками терроризма. На родине Бёлля, в стране, еще незадолго до того по праву гордившейся своим «экономическим чудом», ценившей стабильность и порядок, столь резкая смена социального климата повлекла за собой нагнетание атмосферы страха и нетерпимости ко всем формам инакомыслия, «запреты на профессии», травлю «радикалов» в средствах массовой информации (объектом нападок не раз становился и сам Бёлль – только за то, что призывал сограждан сначала попытаться понять «бунтарей», а уж потом применять к ним «меры воздействия»). Но проблематика романа много шире и глубже, сегодня она позволяет взглянуть на политические потрясения уже почти полувековой давности в свете общечеловеческих ценностей близких каждому, и именно потому многое в этих потрясениях объясняет.

Главная мысль, внятно прочитывающаяся в идейном контексте книги Бёлля, делает честь его социальной зоркости: и молодежный бунт конца 60-х годов, и последующий разгул терроризма – это не причина, это следствие недугов современной цивилизации. Именно поэтому террористы как таковые хотя и упоминаются в романе, косвенно участвуют в развитии событий, но неизменно пребывают где-то на периферии повествования, как бы совершенно в ином мире, а угроза, исходящая от них, приобретает очертания мифического рока.

Нет, создавая этот роман, Бёлль вовсе не помышлял о своей вариации «Бесов». В центре книги совсем другая проблема – проблема существования человека внутри социальной системы, где из человеческих отношений вытравлена человечность, где под видом насущных жизненных ценностей общество навязывает и подсовывает людям ценности безжизненные, обманные, противные человеческой природе: культ преуспевания, престижа, успеха любой ценой вместо творческого самораскрытия личности, культ сексуальной вседозволенности (или порнографическую иллюзию вседозволенности) вместо любви; штампованный суррогат мысли (особенно мысли политической) вместо свободы суждения; наконец, штампованный суррогат речи, обрекающий человека на многословную немому. (Чего стоит одно только словечко «милый», которое, словно товарный ярлычок, то и дело приклеивается в романе к любому персонажу тревожным символом полнейшей обезлички.)

С удивительной эмоциональной конкретностью Бёлль дает читателю почувствовать, что такое – явное и скрытое, узаконенное и негласное – подавление человеческого в человеке по самой сути своей есть **насилие** и с неизбежностью влечет за собой протест, возмущение, а в конечном счете в крайних формах – и вспышки ответного насилия. Писатель не оправдывает террористов и не осуждает их, он в отличие от многих современников в меру своего понимания пытается их объяснить и делает это очень деликатно, тактично, лишь изредка заглядывая в души «бунтарей», – в его романе, построенном в давних добрых традициях бёллевской прозы на чередовании внутренних монологов, «бунтари» (да и то бывшие) нечасто берут слово. Но и этого достаточно, чтобы увидеть связь между протестом «бунтующей молодежи» и последующей идеологией и практикой терроризма. Общество не пожелало понять этих людей, прислушаться к их сомнениям, оно их попросту сломило и выбросило на задворки жизни. Именно в жестокости, в бездумной и тупой ярости, с которыми было подавлено всякое инакомыслие, Бёлль видит истоки терроризма. Да, это зло, но это – **ответное** зло.

Так, исподволь, вырисовывается главный конфликт этого романа – конфликт между правдой и ложью, подлинностью и подделкой в жизни человека, в жизни общества. Внимательный читатель, думаю, заметит, что конфликт этот пронизывает не только тематику, но и весь художественный строй книги. Взять хотя бы фабулу, сооруженную, казалось бы, по всем канонам низкопробной массовой беллетристики: полицейский комиссар выслеживает террористов, те, в свою очередь, охотятся на заправил западногерманского капитала, которых поэтому неусыпно стерегут сотрудники службы безопасности, – плюс к тому парочка любовных треугольников, в одном из которых участвует дочка миллионера и ее охранник. Чем не сюжет для разухабистого бульварного боевика? Но в том-то и загвоздка, что в мертвенную, почти ходульную сюжетную схему Бёлль, как птиц в клетку, поместил поразительно узнаваемых, поразительно живых людей, которые подлинностью своих мыслей и чувств, а под конец романа – и подлинностью поступков сумеют положить конец своей неволе.

Конечно, велик соблазн поразмышлять на материале этого романа о том, как Генрих Бёлль, честный художник и беспощадный реалист, пришел к осознанию исторической обреченности буржуазного общества. Тем паче, что текстуально книга вроде бы и дает к тому немало оснований: несколько раз, устами разных героев, здесь высказана мысль о неизбежном торжестве социализма. (Правда, заметим в скобках, речь всякий раз идет о разном социализме, а в ключевой, ударной реплике неспроста сказано: **«какой-нибудь социализм** побе-

дит обязательно».) Боюсь, однако, такой разговор заведет нас в область рассуждений, Бёллею не свойственных. С тем же успехом, вспомнив героев других бёллевских книг – Катарину Блюм, убивающую продажного газетчика («Потерянная честь Катарины Блюм», 1974), отца и сына Грулей, спаливших армейский джип («Чем кончилась одна командировка», 1966), старуху Фемель, стрелявшую в министра («Бильярд в половине десятого», 1959), – можно сделать вывод о давних террористических наклонностях самого писателя, что, кстати, не раз инкриминировалось ему иными западными рецензентами. В ответ на подобные инвективы Бёльль неизменно подчеркивал: не следует путать заостренное выражение *художественного* конфликта с идейными убеждениями художника. Вопрос отношения Бёлля к идеологии и практике буржуазного общества, к идее социализма и реальному социализму – предмет куда более сложный, прихотливо связанный с его религиозным мировоззрением, если угодно, с его проповедническим пафосом поэта-моралиста. Завершая же это вступление, хочется сказать о другом.

Думаю, возвращая Генриху Бёллею долг нашей благодарной памяти, нам пора спросить себя: почему его книги, написанные в другой стране, в условиях иной социальной системы, столь много говорят нашему уму и сердцу? Почему трудная и неравная борьба бёллевских героев за право быть собой, за собственную свободу и достоинство так волнует нас, а нравственные уроки этой борьбы так созвучны и нашим чаяниям? Не пора ли признаться себе, что кое-какой опыт существования в обществе, которое закрывает глаза на свои болезни, не терпит инакомыслия, не поощряет стремления человека к «самостоянию» – что такой опыт имеется, увы, и у нас. И не настолько далеко, не настолько безвозвратно в прошлое ушел этот опыт, чтобы мы успели напрочь о нем забыть.

Разумеется, речь не о прямых исторических и социальных аналогиях. Но почва для сопоставления, безусловно, есть. А значит, и об этом, среди прочего, предстоит поразмыслить читателю над страницами романа Генриха Бёлля «Под конвоем заботы».

М. Рудницкий

Под конвоем заботы

Персонажи и поступки, события и ситуации, проблемы и конфликты созданы в этом романе исключительно прихотью авторского вымысла. Если же они хоть в чем-то обнаруживают сходство, пусть даже отдаленное, с так называемой действительностью, автор в этом – как всегда – неповинен.

Моим сыновьям Раймунду, Рене и Винсенту – с глубокой признательностью.

I

В день закрытия съезда, перед самыми выборами, на последнем, решающем заседании страх внезапно исчез. На смену страху пришло любопытство. Неизбежные в таких случаях интервью он давал уже почти весело, сам изумляясь, сколь стремительно пухнет его должностной словарь: «прирост», «взлет», «примирение», «автономия тарифов», «баланс взаимных интересов», «опыт прошлого», «виды на будущее», «синхронность включения в общий старт», – и всему этому он даже успевал сообщить личностный оттенок, деликатно дав понять, что и сам стоял у истоков возрождения демократической прессы, осознает все преимущества, но и опасности консолидации, а заодно и неоценимую роль рабочих, да и профсоюзов; словом, если и борьба, то не друг против друга, а только вместе. Кое-что из сказанного даже на его слух звучало почти правдоподобно, если бы не беспощадные, скальпельные выкладки Рольфа и сумрачные прорицания Кортшеде – при всей несовместимости отправных посылок они всегда казались ему гораздо убедительней. Забавы ради он расцветчивал свои монологи блесками историко-культурной и даже искусствоведческой эрудиции: соборы и Менцель¹, Бисмарк и Ван Гог, чья социальная, а в сердцевине, возможно, и социалистическая страстность, чей миссионерский пыл не просто и не сразу, но в конечном счете воплотились в его искусстве; Ван Гог и Бисмарк как современники; оброненные мельком, как бы случайно, эти раздумчивые сентенции внесли в его речь новые, неожиданные краски, ведь от него ждали рассуждений об экономике, политике и прочих сугубо прозаических материях. Он же вдруг вновь ощутил в себе ту, лишь на первый взгляд врожденную способность элегантно импровизировать, которая так выручала его еще лет сорок назад на семинаре у Труклера, верой и правдой служила ему и после на бесчисленных редакционных совещаниях, но никогда прежде не осеняла перед столь обширной аудиторией.

Слова слетали с языка сами собой, почти автоматически образуя фразы, речевые блоки и не мешая думать о своем – о том, когда же и почему внезапно улетучился страх: наверно, в тот миг, когда он понял, что выбор, вероятно, падет на него и, значит, его забросят на самую верхотуру, где страх вообще непереносим, и вот, видимо, тогда, размышлял он, давая очередное – которое по счету? – интервью, он вдруг нутром ощутил, что от страха лучше избавиться вовсе. Лучше уж никакого страха – только любопытство; и вот тягостный, месяцами длившийся страх – за свою жизнь, за жизнь Кэте, Сабины, Кит – разом исчез. Все равно «те» его «достанут», наверно, даже прикончат, весь вопрос: КТО и КАК, вот что теперь будоражило любопытство, и даже его чувства к Сабине обрели иную окраску – забота, а не страх. Да, у него есть все основания позаботиться о дочери.

¹ Адольф фон Менцель (1815–1905) – немецкий живописец и график. – Здесь и далее примеч. пер.

За последние месяцы страх незаметно вошел в привычку, стал чем-то вроде инстинктивной техники безопасности. В душе не оставалось места для заботы; а теперь если и страх, то не перед чем-то, а за кого-то: за Сабину и Герберта, за Кэте с ее глупостями (за нее, правда, меньше всего), а еще – это его удивило – за Рольфа. Неумеренная набожность Сабины давно его беспокоит, хотя втайне вызывает и зависть, а этот Фишер, его зятек, на подростковое обаяние которого все они «купились», – не то, даже Кэте признала, что он «типичное не то», он ей не пара. Деляческая сноровка, с которой он запродаст Сабину и собственного ребенка, теперь-то всем им раскрыла глаза. А над Кэте по части денег надо бы попросту учредить опеку; она раздает всем кому не лень да и на себя не скупится, из-за чего рано или поздно влипнет в крупные неприятности, если, чего доброго, уже не влипла.

Вот о чем он думал в жарком свете юпитеров, косясь на микрофоны, которые, точно ручные гранаты, придвигались все ближе к лицу; Амплангер безупречно все подготовил: очередность интервью, кофе и минералка, а в перерывах неизменное опрыскивание одеколоном – все катилось само собой, в два ряда, и даже каверзные вопросы о семье не выводили его из равновесия. И пока на полосе «задних мыслей» он перебарывал в себе «технику безопасности», стараясь вытеснить страх теплом заботы, на другой, внешней полосе, отвечая на беспардонные расспросы о Рольфе, Веронике, Хольгере и даже Генрихе Беверло (интересно, они уже пронюхали, что у него есть и второй внук по имени Хольгер?), он тем временем размышлял: нельзя ли назвать то, что он испытывает, чувством «веселой озабоченности»? Он выразил искреннее и горькое сожаление о Веронике и ее участии, не позволил отмежевать себя от Рольфа, хотя наводящими вопросами его усиленно к этому подталкивали, признал лишь, что сын наделал немало ошибок, подчеркнув, однако, что за ошибки эти Рольф понес наказание, не скрыл и серьезной, глубокой тревоги о судьбе Хольгера (старшего, ибо о Хольгере-младшем им, судя по всему, пока ничего не известно).

Эта двурядность мыслей, – пожалуй, ее можно назвать и шизофренией на почве контактов с журналистами – даже стала слегка его забавлять: оказывается, вовсе не трудно отстреливаться холостыми словесными очередями от ехидных, с подковыркой, вопросов, а думать при этом о Сабине, которая в последнее время сама не своя (кто-то смутил ее душу, не иначе – Кольтшрёдер) и с тем большей истовостью ищет утешения у мадонны. Зато куда трудней другое: вверяя микрофонам свой, только с виду непринужденный, прореженный интеллигентным покашливанием речитатив, прощаться с мечтой, которая столько лет его согревала: мечтой увидеть Кит, девушкой или молоденькой женщиной, в его замке, полюбоваться, как она бродит по тропинкам парка, заглядывает в оранжерею, кормит уток у пруда, – нет сил оборвать этот фильм, отрешиться от этих кадров своей мечты, отказаться от любимой игры, в которую, если верить убийственным прорицаниям Кортшеде, ему не суждено сыграть никогда; не то что девушкой – даже десятилетней девчушкой Кит не пройдет по комнатам его замка, не будет в них жить, этому не бывать, теперь уже не бывать.

Где-то там, за спящей завесой юпитеров, съезд доживал последние часы: наспех опрокидывались прощальные «посошки», шоферы тащили к машинам чемоданы, члены правления прихлебывали остывший кофе, сопровождая сдержанными хлопками его очередное, как они считали, особенно важное и особенно удачное интервью, – и тут Плифгер, его предшественник, не смог отказать себе в прощальном жесте: подскочил к нему в перерыве и с обычной своей снисходительностью (скорее чисто профессиональной, вовсе не адресованной лично ему – снисходительностью стального магната к «какой-то там прессе»), изображая крайнее, почти оскорбительное изумление – будто раньше все они держали его за престарелого дурачка, – прямо-таки почти сердечно пожал руку и похвалил:

– Да вы отлично справляетесь, дорогой Тольм, просто бесподобно! Нам остается только еще раз поздравить себя с таким замечательным избранником!

А Климм, человек Цуммерлинга, прикинулся, будто так ошарашен его, Тольма, «краснобайством», что это и впрямь смахивало на оскорбление.

Действительно ли он прочел в лице Блямп что-то вроде зависти? Во всяком случае, Блямп был поражен, это точно – легкостью, с которой он выполняет свои новые обязанности, его почти бесшабашным весельем в тот час, когда он, Блямп, рассчитывал позабавиться его слабостью, затравленным видом, жалким лепетом, – ведь ему наконец-то удалось забросить (он так прямо всем и говорил) Тольма «куда следует», на самый уязвимый пост, в самую опасную точку, и никто не мог предположить, что новая должность окажется ему настолько к лицу, что он, вопреки ожиданиям, так уверенно справится с новой ролью, подумать только, именно он, Фриц Тольм, который в последнее время сдает на глазах, а идеологически всегда был не слишком на высоте, этот слабак и неженка, «трость, ветром колеблемая²», смутьян и сомнительный элемент в их железной команде, к тому же «как-то там», непонятно как, но по семейной линии, повязанный с «теми», – словом, идеальная в своей уязвимости мишень.

Да, несомненно: Блямп был поражен и, наверно, втайне усомнился, уж не дал ли он маху, предложив его кандидатуру, подбросив его фамилию в усталый гомон обалдевшего от бесплодных трехчасовых дебатов собрания – после того, как столько других кандидатур были отведены либо взяли самоотвод; именно его, Фрица Тольма.

А лимузины все подкатывали и подкатывали к подъезду, в них загружались чемоданы, взад-вперед носились водители, охранники в штатском спешили занять свои посты, телевизионщики и радиокорреспонденты укладывали аппаратуру, позвякивала посуда, пустые бутылки рядом составлялись в ящики, и в эту минуту, когда пресса, урвав свое, уже готова была от него отступить, он вдруг понял, что держится все-таки не так легко и раскованно, говорит не так свободно, как хотелось бы, а мысли движутся по двум полосам не так гладко, не параллельно, иной раз все же задевают друг дружку, – а коли так, он рискнет закурить: с чувством, с толком, но и почти с жадностью, на секунду вновь ощутив себя молодым, как в былые годы, когда он – студентом после особенно нудного семинара или молодым офицером после особенно удачного отступления – с наслаждением делал первую затяжку; и смотри-ка, какой-то шкет, мальчишка-фотограф, все еще не уставший караулить свою удачу, тут же его подловил и отщелкал – как он достает из кармана мятую пачку сигарет (вспышка), извлекает оттуда белоснежную бумажную трубочку (снова вспышка), собственноручно, не дожидаясь, пока кто-нибудь подскочит с зажигалкой, чиркает спичкой (еще один блиц), и у него мелькнула мысль (уж настолько он разбирается в журналистике, уж этому-то даже он успел научиться, хоть многие, почти все, привыкли его попрекать: мол, «при деле сидел, за делом глядел, а дела не разумеет»), но тут он нутром почуял, что этими снимками карьера пареньку обеспечена: седовласый, почтенный старикан, известный своей вальяжной обходительностью и в то же время чуточку легкомысленный, словно до настоящей солидности, когда человек действительно «имеет вес», ему самой малости недостает, – вот он, в полный рост, прическа слегка растрепалась, одет с иголочки и все же с налетом небрежности, стоит как ни в чем не бывало, будто ему и вправду нечего бояться, и даже попыхивает сигаретой, точно какой-нибудь юнец, а не новоиспеченный президент, и в руках у него мятая пачка сигарет и спички в потрепанной упаковке, – стоит с победным видом, хотя на самом деле он побежденный, а истинный победитель – Блямп.

Ну вот Блямп и определил его туда, куда всегда хотел, – на самый верх, где у него не будет ни сна, ни покоя, ни передышки, вообще никакой личной жизни, где, у всех на виду, его попросту затравят угрозами и доконают мерами безопасности, – а он за каких-нибудь два часа открыл в себе спасительную двурядность мыслей и именно теперь, вопреки всему,

² Матф., 11, 7.

снова обрел личную жизнь, детей и внуков, обрел Кэте и уже не страшится речей, которые ему нужно будет произносить, пресс-конференций, которые его заставят вести, интервью, которые ему придется давать. Вон, оказывается, сколько еще в нем силенок, а он и не знал, вон какие обоймы мыслей, которых он еще не высказал, мнений, от которых не терпится освободиться, гладких формулировок, заготовленных на все случаи жизни, – пусть спрашивают что угодно, он не боится этих писак, ни нахальных, ни подобострастных, ни даже нахально-подобострастных, и хоть про него говорят, что он при деле сидел, за делом глядел, а дела не разумеет, журналистскую шатию он знает как облупленную и нахалов всегда предпочитал подхалимам – как-никак он тридцать два года шеф «Листка» и повидал их достаточно, видел, как они приходят и уходят, наглядился на их взлеты и падения и, между прочим, всегда умел с ними ладить, хоть так и не смог понять, что же такое журналистика, сколько ни жужжали ему на разных конференциях, что «жур» означает «день», до него только сейчас дошло, что это значит: целый день ради злобы дня мило болтать перед микрофонами и камерами под скрип заточенных карандашей все, что катится по полосе «передних мыслей», – вот чему научился он в те минуты, когда страх за собственную жизнь внезапно его отпустил.

А ведь среди кандидатов – вечная история – опять называли и Кортшеде, но тот на сей раз даже не приехал, и опять посыпались намеки на его «наклонности», из-за которых он якобы непригоден для такого поста, «совершенно непригоден, хотя способностей его никто не оспаривает».

Вот так и получилось, что Блямп все-таки вышел на него, а Амплангер опять остался в тени; ох уж этот Блямп с его мерзкой физиономией, прямо «рожа» да и только, с его солдафонскими замашками, постаревший, но не утративший молодецкой прыти, никакой не сердцеед, обыкновенный бабник. Любопытно было впервые за тридцать пять лет видеть Блямпа почти смущенным, во всяком случае в растерянности: уважительный кивок, а потом все-таки удар исподтишка, да какой внезапный:

– Значит, у Фишеров пополнение? Только из газет и узнаешь: одна в спортивной хронике что-нибудь тиснет, другая – в светской. А ты, конечно, молчок. Даже Кэте, когда я ей сказал, и то поразилась. – Блямп пристально наблюдал за его реакцией и, конечно, понял, что он тоже впервые об этом слышит. Так Сабина беременна? А ему ничего не сказали? И откуда этот многозначительный тон, словно речь о чем-то скандальном, о какой-то пикантной сенсации? Журналисты вроде пока ничего не разнюхали, иначе сегодня непременно бы спросили: «С какими чувствами вы ожидаете пополнения в семействе Фишеров?» Да, за сообщением Блямпа, за его вопросом что-то кроется, а он ничего не знает. – Ну, поздравляю, поздравляю. И с дебютом, ты был просто великолепен, придется теперь повнимательней читать в газетах раздел культурной жизни, а то за тобой не угонишься. И конечно, с будущим внуком. Значит, через четыре месяца? Ну, будь здоров.

Все кончилось раньше времени, Кэте еще не вернулась от Сабины; в дни заседаний, а тем более съездов она всегда скрывалась, только после обеда, за чаем и кофе, разыгрывала роль хозяйки дома, потчевала всех своим печеньем и маленькими пирожными, она всегда питала слабость к птифурам, которые сама пекла в своей уютной кухоньке, и все это очень мило, приветливо, гостеприимно, будто и не по обязанности вовсе, – болтала с мужчинами, заботилась о секретаршах, которые, похоже, и правда в ней души не чаяли, выпрашивали кулинарные советы, переписывали рецепты. «Нет, подумать только, и как это вам удастся!» В те два-три часа, когда в святая святых допускались женщины, она звала их к себе наверх посудачить, угостить чаем и ликерами, иногда даже демонстрировала наряды, терпеливо выслушивая охи и ахи, поддерживая беседу – о детях, внуках, планах на лето, и не делала различий между законными женами и «подругами» гостей – наедине с ним она без церемоний звала их любовницами, – со всеми была ровна и мила, всех умела мгновенно к себе рас-

положить, а «подруг», недавних стюардесс, секретарш, продавщиц, если те с непривычки робели в «высшем свете», успевала даже тактично ободрить. Спокойно, не роняя достоинства, парировала колкости и пресекала все попытки позлословить о Рольфе или Катарине, Веронике или Хольгере-старшем, отстаивала Герберта, которого числили по разряду «чокнутых», и холодно пропускала мимо ушей лицемерные сочувствия по поводу ее – теперь уже семилетнего – внука, чье местопребывание никому не известно. «Эта женщина, нынешняя подруга вашего сына, Катарина, она ведь коммунистка, верно?» – и она отвечала: «По-моему, да, но лучше бы вы спросили у нее об этом сами, я, знаете, не люблю судить о людях по их политическим взглядам». Намеки на похождения их зятя Эрвина, на жизнь «бедняжки» Сабины – она спокойно выслушивала и это. И даже постоянное присутствие охранников, торчавших в доме повсюду – в коридорах, на балконе, в кладовках, – не могло вывести ее из равновесия.

Да, без Кэте ему сейчас трудно. Если Сабине через четыре месяца рожать, значит, скоро пойдет уже шестой – и она никому ни слова не сказала. О ком бы ни ронял Бляммп свои каверзные замечания – о Рольфе, Катарине, Герберте, Хольгере-старшем, – в одном, по крайней мере, сомневаться не приходилось: фактам они соответствуют. Раз он сказал «через четыре месяца», значит, через четыре, даже если сама Сабина за такую определенность не поручится. Это информация из источника Цуммерлинга, а его люди не только «прослушивают пульс времени», они и лоно знатных дам прослушивают, и лучше, нежели сами эти дамы, знают, с какого дня отсчитывать задержку, это диагносты особого пошиба, они, должно быть, расспрашивают горничных и аптекарей, роются в мусорных бачках и медицинских картах, прослушивают, ясное дело, и телефоны, и все это, разумеется, только во имя общественного блага. Кэте, будь она в курсе, от него-то, наверно, не стала бы скрывать, и уж совсем непонятно, почему молчит Сабина? Раз Бляммп что-то вычитал в спортивной хронике, значит, это как-то связано со скачками; нет, он не кинется к телефону и не станет звонить, хотя ему очень хочется. А больше всего ему хотелось бы сейчас подняться к Кэте и выпить с ней чаю. Он уверен, она не позволила бы себе и тени насмешки по поводу его избрания, даже если в глубине души – но, видно, этого ему уже никогда не узнать – она и потешается; конечно, она уже все слышала по радио в машине или у Сабины по телевизору и, скорее всего, ужаснулась, она же понимает, что Бляммп не просто хочет еще больше его запугать – Бляммп решил его уничтожить.

Наконец-то в зале кончилась трескотня, телевизионщики, радиокорреспонденты и газетчики убралась восвояси, и он может на минутку спокойно присесть без риска ослепнуть от фотовспышек; он почувствовал, как по лицу паутиной расплзается усталость, почувствовал буквально кожей, по которой бороздами пролегли морщины, – да, эта забавная и азартная игра, эта беготня мыслей по двум дорожкам порядком его измотала, а еще одну сигарету ему никак нельзя. Он ненавидит унылые препирательства с Гребницером, своим врачом, а уж Амплангер, будьте уверены, представит тому полный отчет: три на заседании, одну после обеда и еще одну во время пресс-конференции. Амплангера без долгих дебатов, даже без единого голоса против снова избрали ответственным секретарем, и хоть этот Амплангер птенец из его гнезда – он ведь начинал в «Листке» под крылышком своего папаши, в «Листке» оперился, на «Листке» сделал карьеру, – а чей он на самом деле человек, не поймешь: может, Блямпа, а может, даже и Цуммерлинга. Вежлив, образован, услужлив, даже мил, он редко показывает зубы, но уж если показывает, то страшнее всего в улыбке, более жуткой улыбки, так сказать, улыбки со скрежетом зубовным, он ни у кого не встречал. В семье Амплангеров улыбались все: он сам, его жена, четверо детей, а злые языки утверждали, что со дня на день в его доме начнут улыбаться собака, кошка и даже волнистые попугайчики. Улыбка

Амплангера давно стала притчей во языцех, ее боялись как огня, когда Амплангер заведовал в «Листке» кадрами, он на всех страха наводил. Кто-то из «стариков», тех, кто работал в «Листке» с самого начала и с кем можно поговорить по душам, ему рассказывал, что даже поговорка такая ходила: «Если Амплангер улыбнулся, тебе хана».

Но сейчас – неужто Амплангер тоже устал, настолько устал, что даже не в силах ему улыбнуться?

И вид у него был почти человеческий, когда он подсел рядом и тоже устремил взор на зелень парка; и белый воротничок вокруг шеи чуть-чуть потемнел и замахрился, видно, Амплангеру тоже пришлось попотеть, даже прическа не выглядела безупречной, словом, он казался почти живым человеком, когда заговорил:

– Выкурите еще одну, господин доктор, я никому не скажу.

Но он в ответ только покачал головой и спросил:

– Что там было в газетах насчет моей дочери и ее беременности?

– Ваша дочь Сабина отказалась от подготовки к предстоящему первенству, что дало толчок некоторым домыслам, я распоряжусь все тщательно проверить. Информация господина Блямпа меня самого чрезвычайно удивила. А теперь, если позволите, вам надо бы прилечь. День был безумный, даже меня и то доконал, вам лучше подняться к себе, а я тогда со спокойной совестью отправился бы домой. Разрешите заметить: с журналистами вы разделились бесподобно, просто блеск.

– Мне уже завтра приступить? Я имею в виду – сидеть в кабинете?

– Нет, у нас только на послезавтра намечено маленькое торжество, что-то вроде приема для наших рядовых сотрудников, ведь большинство заведующих вы и так знаете. А на завтра у нас ничего нет.

– Я еще посижу, а вы идите, не беспокойтесь. Кланяйтесь от меня жене и детям.

– Думаю, излишне вам объяснять, что все меры безопасности, предпринимавшиеся в отношении господина Плифгера, теперь автоматически распространяются на вас. Если не возражаете, господин Хольцпукке посвятит вас во все тонкости – мне, разумеется, это тоже нетрудно, но он предпочитает инструктировать своих подопечных сам, и я не хотел бы его обижать. В таком случае, если я смею полагать, что вы в моей помощи не нуждаетесь и даже считаете ее излишней, я готов удалиться.

– Благодарю, и всего доброго. Значит, до послезавтра.

Больше всего ему хотелось сейчас просто уйти – пешком, через двор, по замковому мосту, по аллее, и так до самой деревни, а там, не торопясь, от дома к дому, добрести до церкви, посидеть, а может, даже и помолиться; потом он постучался бы к Кольшрёдеру, напросился бы на кофе, потолковал о житье-бытье, но только не о Боге, о Боге он с Кольшрёдером беседовать не любит, наверно, потому, что тот священник. Постоял бы возле родительского дома, приземистого, хоть и в полтора этажа, отделанного теперь асбестовой плиткой, – там, по традиции, опять живет учитель, молодой, у него машина, жена в джинсах, он пристроил к дому гараж, а на месте грядок разбил газон, неизменно густой и ухоженный; на зеленой траве разбросаны пестрые пластмассовые игрушки двоих его детей. Он и впредь не сделает того, что давно и строго-настрога себе запретил; не попросится зайти, чтобы осмотреть дом изнутри: две клетушки со скошенным потолком в мансарде, внизу – горница, кухня, чулан для утвари, в подвале – прачечная и кладовка; сейчас там, наверно, все по-другому, интересно, где они ванную оборудовали, внизу или наверху? Он вспомнил бы родителей, брата Ханса, все уже давно в земле, родители тут, рядышком похоронены, а брат далеко, очень далеко, если там вообще было что хоронить. Прямое попадание. «Катюша», сталинский орган. Надо бы сходить на родительскую могилу, Кэте там бывает чаще, чем он, она ездит в Ной-Иффенховен, на тамошнее кладбище, где перезахоронены ее родители, а на обратном пути заглядывает и к его старикам, приносит цветы, покупает медные гильзы

для свечек, она и надгробья новые заказала, скульпторы – совсем молодые ребята, он только наброски видел, роза и крест, в мраморе, для обеих могил один и тот же орнамент с незначительными вариациями, но он не любит кладбища, никогда не любил туда ходить, даже на похороны, не то что некоторые, кого хлебом не корми – только дай поглазеть на чужие похороны.

А еще он повспоминал бы о молочном супе, такого супа ему уже не отведать, ни в войну, ни после ему так и не довелось воскресить тот божественный вкус, и даже Кэте – а она бесподобно варит супы – тут бессильна, хотя он сотни раз про этот суп ей рассказывал: островки взбитого белка, легкий, едва слышный – у Кэте он всегда чуть-чуть резковат – привкус ванили, но главное – ощущение воздушности, когда все прямо тает во рту, у нее же суп то слишком густой, то жидковат, оно и понятно, рецепта он не знает, только вкус запомнил, а вот его-то и не вернуть, как не вернуть иные запахи, особенно тот – прелый запах осенней листвы из темных глубин двора, там, в Дрездене, когда он обнимал Кэте в дешевой мебелирашке.

Острее всего воспоминания о субботах: после исповеди ритуал мытья, в цинковом корыте, потом суп, бутерброд с маргарином, по счастливым дням – какао, и даже воспоминание об исповеди не в силах вытравить воспоминание о супе. Он постоял бы возле дома Пюцев, возле дома Кельцев, позаигрывал бы с мыслью – заранее зная, что ничего такого не сделает, – зайти и поздороваться с Анной Пюц (про которую он хоть знает, что ее теперешняя фамилия Коммерц) или с Бертой Кельц (про которую он не знает ничего, даже нынешней фамилии), просто зайти, сказать «добрый день» и заглянуть в лица этих старых женщин. Они бы, конечно, смутились, ведь он теперь живет в замке и вообще важная персона. А он бы силился разглядеть сквозь их морщины лица тех девчонок, в которых более полувека назад был так сильно, до беспамятства, влюблен – в Берту, когда ему было тринадцать, в Анну, когда ему было четырнадцать, одна блондинка, другая брюнетка, ему не давали покоя их девичьи глаза, груди, ноги, локоны, он ходил за ними по пятам, выслеживал, пытался целовать, тискал при малейшей возможности, и они не обижались, только отмахивались, им, наверно, было не привыкать, другие мальчишки вели себя не лучше, а ответное женское любопытство в них еще не проснулось, не то что у Герлинды Тольмسخовен, но то было позже, и потому он никогда не знал, как отвечать в исповедальне на злополучный вопрос: «Один или с кем-то?» – а в том, что одному из двух этих грехов любой мальчишка его возраста предается несомненно, отец Нупперц был убежден свято; как считать – было это «с кем-то», когда он, подкараулив девчонку, порывался ее потискать или просто просил – на что они иногда соглашались, причем обе с каким-то замороженным, почти торжественным удивлением, – посмотреть ей в глаза, и он, клятвенно пообещав, что все будет «без рук», смотрел, долго, глубоко, упоенно и неизменно держал слово. Как считать – это «с кем-то»: заглядывать в девичьи глаза, ища и открывая в них неведомо что? А невыносимые расспросы Нупперца: рукоблудит ли он во время субботнего купания, настойчивые советы мыться в не слишком горячей воде, а лучше всего в плавках, – эти рекомендации только навели его на идеи, о которых он прежде и представления не имел. Нет, это было уже чересчур, больше он к исповеди не ходил, и с тех пор ничто не омрачало воспоминаний о субботе (его перевернуло при мысли, что бедняжка Сабина совсем недавно и вправду специально приезжала сюда исповедаться, и у кого? – у Кольшрёдера!), осталось только купанье и молочный суп, распаренное лицо матери над плитой, Ханс, подсовывавший ему свое какао, – сам он, как правило, вскоре смывался, его ждали иные радости, послаще всякого какао, – отец, которого, по счастью, обычно не было дома, с рюкзаком за плечами он колесил на велосипеде по окрестностям в поисках дешевой земли, у него это было вроде болезни, он жаждал владеть землями, даже если это были заболоченные, заросшие камышом и осокой, бросовые земли

разорившихся крестьян. Да, отец жаждал стать землевладельцем и притом был ведь вовсе не прекраснотушный мечтатель, а строгий, даже ненавистный учитель, вдобавок еще и вегетарианец, он надевал рюкзак, садился на велосипед и уезжал искать «участки», вожаденные землевладения, он коллекционировал сотки и квадратные метры, сколотил под конец несколько гектаров совершенно бесплодной земли, ворошил свои бумаги и квитанции, сортировал выписки из поземельных книг, купчие – все по закону, все заверено у нотариуса, – потом чахотка, смерть (а все же эти несколько гектаров вокруг Иффенховена, Блюкховена и Хетциграта помогли матери худо-бедно перебиться после войны: недвижимость она меняла на еду, всю землю – сотку за соткой – обратила в молоко, масло и картошку, потом, когда поднялся угольный бум, крестьяне за эти участки получили неслыханные барыши). Когда он умер, вся деревенская детвора вздохнула с облегчением, вздохнули и Анна Пюц, и Берта Кельц, а особенно мальчишки, которые и теперь, уже дедушками, пугают внучат рассказами о грозном учителе Тольме, про которого никто даже толком не знал, хоть католик ли он «на худой конец», в смысле – «настоящий», «добрый» католик, потому как в церковь-то он хаживал и за порядком присматривал, а вот в исповедальне и у причастия его никто не видывал, ни здесь, ни в соседних деревнях, где он пропадал по воскресеньям, приманивая крестьян своим диковинным рюкзаком, велосипедом и скудной наличностью, из коей он предлагал жалкие задатки, дабы тут же, сразу после мессы и непременно при свидетелях, ударить по рукам, скрепляя таким образом уговор, над смехотворностью которого крестьяне потешались промеж собой ничуть не меньше, чем над «чудным» покупателем: длинный, костлявый, смурной какой-то, к тому же и не пьет, попросит воды принести или стакан молока, – словом, кощей да и только. Мать была совсем другая, у нее были хоть какие-то радости жизни: дом, грядки, цветы, дети, кухня, церковь, работа в союзе матерей³, богомолье, и она никогда не падала духом, а иной раз – правда, редко, ох как редко – ей удавалось даже пробудить улыбку на отцовском лице, когда она припоминала времена их блюкховенской юности, своих и его родителей, которые, как теперь выяснилось, всю жизнь просидели на несметных угольных залежах.

Надо бы сходить на могилу, посмотреть, как там Кэте распорядилась цветами, взглянуть на мраморную плиту с розой и крестом, на горящую свечку в медной гильзе. Он бы и в церковь зашел, поборов давнюю неприязнь к Кольтшрёдеру, с ним хоть об архитектуре и живописи поговорить можно. Да и о музыке; а может, и в дом Коммерцов заглянул бы, там ведь живут нынешние тесть и теща Рольфа, родители Катарины, Шрётеры. Хотя он и сейчас еще, пятьдесят лет спустя, немножко стыдится того, чем занимался тогда иной раз вместе с Петером Коммерцем и Конрадом Вергеном, про себя называя это «один, но с кем-то». Эти двое живо его просветили, едва он спросил, что имеет в виду старик Нупперц, когда пристаёт насчет «рукоблудия», – лучше бы ему остаться тогда в неведении, во власти грез, тем более что вскоре он и Герлинду встретил, как только начал ездить в городскую школу. Потом стал помогать ей по математике, здесь, в этом замке; конечно, посягнуть на ее грудь или ноги он не отважился, как-никак графиня, но в глаза заглядывал, глубоко-глубоко и безответно, потому что в один прекрасный день она решила «покончить с этим делом», сказав ему с неповторимым флиртующим озорством:

– Помилуем друг друга. – И добавила: – Только без комплексов, дорогой Фриц. Ты у меня не первый и, наверно, не последний, а я знаю, что я у тебя первая.

И эта девушка, что слыла в деревне «язвой», а то и просто «дрянью бесстыжей», вдруг стала податлива как воск, нежна и покорна до бездыханности, и он никогда не забудет вспышку безумной радости, озарившую ее лицо, то счастье, которое ему всегда хотелось

³ *Союз матерей* – традиционные католические (с 1930-х годов и евангелические) общества, участницы которых стремятся к воспитанию детей и к супружеской жизни в христианском духе.

назвать благодатью; не забудет он и ее улыбку, когда та же радость снизошла и на него. Ликуя, а не раскаиваясь, шел он исповедоваться, шел в последний раз – лишь бы избавиться от ненавистного «с кем-то», лишь бы раз и навсегда распрощаться с исповедью, а быть может, и с церковью, которая еженедельно заставляет покаянно виниться в том, что он час спустя без всякого раскаяния сделает вновь. Он не забудет откровенное, более чем нескромное пыхтение Нупперца и его жадный, якобы от гнева задыхающийся голос, его глупый вопрос «с кем же?», относившийся к чему угодно, только не к тайне исповеди; к тому же ведь он прекрасно знал ответ, почти вся деревня знала, и все знали, что рано или поздно дело раскроется, оно и раскрылось; остальное было обычно и неизбежно: Герлинду отправили в закрытый интернат, но ему, ко всеобщему изумлению, от дома не отказали. Поговаривали даже, что старая графиня не только все предвидела, но, мол, хотела, чтобы так оно и вышло; она к нему благоволила, это было ясней ясного, и он снова стал помогать – уже брату Герлинды, Хольгеру, и тоже по математике; какое благо – хоть иногда он мог теперь подкинуть матери немного денег, да и себе кое-что купить. Кроме того, были ведь велосипеды, и даже бдительность кёльнских монахинь имела свои границы. А Герлинда настояла на своем «неотъемлемом, Богом и церковью освященном» праве выбрать себе другого, менее осведомленного в ее личной жизни исповедника. Были не только велосипеды, были еще и парки и квартиры подруг Герлинды, особенно одна, около Южного вокзала, где они, распахнув окно, слушали поезда, и Герлинда смеялась, когда он просил заглянуть ей в глаза. Он знал, и она знала: он не найдет в них того, что искал в глазах Берты, в глазах Анны, но он находил нечто иное, тоже важное – прощанье с исповедью и молочным супом.

Сколько раз, заходя потом в эту церковь и поглядывая на незыблемую новоготическую исповедальню, он мог бы торжествовать при мысли, что они, преемники Нупперца, если не все, то многие, сами угодили теперь в силки секса, которые столетиями раскидывали для других. Где и кому сами-то они исповедуются во всех своих «с кем-то», а тем паче во всех своих «один», как и чем искупают свои грехи? Что творится за стенами их уютных и просторных квартир, за стенами их роскошных, модно обставленных «хижин», планировку которых столь беспощадно и точно растолковал ему Рольф, за стенами, где обретаются все эти приживалки, экономки, троюродные кухни или как их там еще, и ни один из них ни разу не сподобился объяснить, отчего все так устроено, что расцвет мужской силы, молодости, желания, да и вожделения приходится на те «лучшие» годы, когда жениться еще рано или попросту нельзя, денег нет, и ты волей-неволей идешь к девкам, к «доступным» женщинам, к коим, несомненно, принадлежала и Герлинда, либо обрекаешь себя на безрадостное «один», которое всегда было ему не слишком по душе? Да и откуда бы взяться этому «с кем-то», если не повстречаешь такое счастье, такую удачу, как Герлинда, – почему, коли на то пошло, они не провозгласят всех Герлинд святыми? До сих пор, с того самого дня, когда он сразу от Герлинды пошел к своей последней исповеди, он всякий раз, напросившись к Кольшрёдеру на кофе, снова и снова втайне упивается своим триумфом, смесью торжества, грусти и отвращения, убеждаясь, что Кольшрёдер, вне всяких сомнений, с этой Гертой, своей эконожкой, как говорится, живет во всех смыслах, значениях и оттенках этого слова; об этом, впрочем, и так все знают, никто никогда этого и не отрицал, слишком явно все видно – как он мимоходом гладит ее по крашеным рыжим волосам, как соприкасаются их руки, когда она наливает ему кофе, интимности и свойской ласки, тут, пожалуй, куда больше, чем в постели, если бы кто их в постели застукал; во взглядах и жестах давняя, привычная близость, столь же неприглядная, сколь и трогательная, особенно у нее, пышногрудой, цветущей сорокалетней женщины в джинсовой юбке и легкой, воздушной блузке, в вырезе которой она даже не боится кое-что показать, – нет, тут уж не было никакого очарования влюбленности, один вороватый блуд, для него это до сих пор потрясение. Наверно, во всем этом не было бы ничего дурного, если бы все было в открытую, если бы не беспрестанное нытье об испор-

ченности других, разглагольствования об их вонючем целибате⁴, не сетования на распущенность молодежи да и всего рода людского – уж по крайней мере не из уст Кольшрёдера! Благочинный распад, сытое, со вкусом и по последней моде, комфортабельное разложение – нет, ему просто больно это видеть, и потом, черт побери, как они исхитряются обойтись без детей, ведь должны же они что-то предпринимать, что-то из того, что другим запрещают? Тогда кто, черт возьми, в чем и перед кем должен исповедоваться, кто кому и что отпускать? Как-никак он лично на своем веку ни разу, ни секунды не помышлял стать священником, не принимал, да и в жизни не принял бы обет целомудрия, не возжелал жены ближнего своего – даже Эдит была не замужем. Благочинное растление, распад, можно сказать, прямо под стенами церкви, и все же одного у нее не отнимешь, кофе она варить умеет, эта Герта, на вид, кстати, вполне приглядная особа, кроткая, с ласковым голосом и крашеными рыжими локонами, – но что-то в ее облике отдает борделем, и ему всегда это претило, именно потому, что приходил-то он не в бордель. Но он все равно нет-нет, да и захаживал к ним, всегда незванным гостем, уже почти не чувствуя триумфа, только отвращение и грусть, ведь когда-то все это кое-что для него значило, а для многих и поныне значит немало, для Сабины и Кэте особенно, да и для него все еще, от поры до поры, значит куда больше, чем полагают эти ханжи, умеющие так элегантно, со всеми удобствами разъезжать по накатанной колее, из которой они столько миллионов, если не миллиардов, честных людей выпихнули, «одних» или «с кем-то». Куда ни глянь – всюду только безупречная штукатурка фасадов, за которыми хаос, распад и тлен.

С Кэте ни о чем таком не поговоришь. Она наивна и в каком-то смысле все еще правоправна, он не рискнет на это посягнуть. К тому же ведь ничего и не докажешь, да и нечего доказывать. Герберт – тот только посмеивается, для него церковь давно уже звук пустой, но не для Рольфа, Рольф сознает, что церковь на него повлияла, как сознает и Катарина и Сабина, – в этом деле он за Сабину боится даже больше, чем за Кэте, да, Сабине он давно и от всего сердца желает любовника, милого, открытого парня, пусть даже из клуба верховой езды. Он почти уверен, что с Эрвином Фишером у нее нелады, в том числе и по части «с кем-то». Он, понятно, и заикнуться об этом не посмеет, тут ведь ничего не докажешь, да и не обсуждают такие вещи, и все же: Сабина заслуживает настоящей любви, а не этого подонка, которого он наедине с Кэте иначе как «пугалом» не зовет.

Кэте собиралась вернуться от Сабины к шести. Сейчас только полпятого, машин во дворе не видно, прощаться ни с кем не надо, он вполне успел бы прогуляться до деревни. Но об этом теперь и думать нечего, не может он просто так взять и уйти, даже на свой страх и риск. Блямп в своем откровенно издевательском поздравительном адресе правильно написал: «Отныне ты принадлежишь себе еще меньше, чем прежде, а своей семье еще меньше, чем себе». И даже если бы он рискнул, ведь не станут же они, в самом деле, удерживать его силой, – а вдруг? – все равно не может он подложить такую свинью этим молодым, неутомимым ребятам-охранникам, даже если он сам будет кругом виноват, спросят-то с них, а случись с ним что, и вину свалят на них, и ответственность, и позор. К тому же он твердо обещал Хольцпуке не устраивать никаких демаршей самому и не допускать эскапад со стороны Кэте, более того – предупреждать его, ежели Кэте таковые замышляет. Ей удалось несколько раз незамеченной ускользнуть через парк, потом перелесками до Хетциграта, поймать там такси и удрать в город; и хотя в городе ее быстро обнаруживали (благо маршрутов не слишком много, две давнишние подруги, адреса которых, разумеется, известны, два кафе – Гецлозера и Кента, обувной салон Цвирнера, два модных магазина – Хольдкрампа и Бреслицера, да еще четыре излюбленные церкви) и потом «вели», однажды даже от самой стоянки такси (Хольцпуке, наверно, уже успел условиться со всеми таксопарками в округе), все равно это

⁴ Обет безбрачия, обязательный для католического духовенства.

было крайне неприятно, причиняло массу ненужных хлопот и тревожений, что в конце концов признала и сама Кэте, объявив, что окончательно «обращена» и «смирилась с тюрьмой Тольмсховен».

Он ни секунды не сомневается, что все меры безопасности, сколь бы преувеличенными и безумными они ни казались, оправданны. Он обязан и хочет относиться к ним с пониманием, он и так порой не на шутку тревожится за нервы этих ребят, и его не слишком успокаивают заверения Хольцпуке, что все они под постоянным наблюдением психолога, некоего Кирнтера, отличного специалиста. Он по себе знает: есть много вещей, о которых он никогда не скажет Гребнице, своему врачу. Например, о смертной скуке, которая охватывает его в огромном кабинете «Листка». А идти в деревню *с сопровождением* – нет, он не пойдет. Что подумает о нем хотя бы этот молодой Тёргаш, дожидаясь, пока он посидит в церкви, а потом еще наведается к священнику, про которого каждый, а уж Хольцпуке наверняка, знает, чем он там со своей Гертой занимается, и который к тому же – после того, как Вероника додумалась позвонить Кэте именно туда, в дом священника, – видимо, сам того не ведая, угодил «под колпак»? Возможные домыслы конвоиров от чего хочешь охоту отобьют. Хольцпуке их ему представил: Тёргаш, Цурмак, Люлер, «очень слаженная группа, где все прекрасно дополняют друг друга, отлично зарекомендовала себя при охране вашей дочери, зятя и внучки». Разумеется, он на всякий случай осведомился у Сабины по телефону, хоть и знает, что телефон прослушивается (без этого никак не обойтись), и она всех троих очень хвалила, особенно Тёргаша, которого назвала «очень серьезным, внимательным и вежливым молодым человеком».

Опять Сабина, не идет она из головы, – отчего в последнее время она буквально дня не может прожить без Кэте, звонит ей, зовет к себе, приезжает сама? Наверно, все из-за этого идиота Фишера, который, похоже, просто потеряет веру в свои мужские достоинства, если бульварные журналы вдруг перестанут расписывать его сексуальные геройства.

Нет, не может он просто так взять и пойти в деревню – тут не только меры безопасности, но еще и ноги, они что-то плохо его слушаются, он даже не знает толком, что его больше удерживает: ноги или неотступный конвой. Это веселое, такое новое чувство легкости после того, как исчез страх, – ногам оно еще не передалось, в ногах по-прежнему тяжесть, скованность и холод до самых щиколоток. Под руку с Кэте он бы, наверно, еще рискнул, а в одиночку – нет, неудобно, вдруг оплошает, придется на кого-то опереться, хотя бы на молодого Тёргаша, что может пагубно сказаться на его бдительности охранника; конечно, его мог бы проводить и Блуртмель, но и Блуртмеля не хочется беспокоить, что они – и Блуртмель тоже – подумают, когда он внезапно остановится перед домом Пюцев или перед домом Кельцев, впрочем, не важно, что они подумают, просто их мысли, их домыслы убьют его воспоминания, и он не сможет воскресить милые лица двух девочек, и в церкви тоже, где он присядет в тишине, один, будет смотреть на исповедальню, на высокие новоготические окна, с грустью и отвращением размышляя о том, что и по сей день до конца в нем не изжито: о мерзких расспросах Нупперца, которые способны были отравить любую красоту, любую поэзию – даже тоскливую радость пресловутого «один». Одна эта мысль – «а что подумают они?» – убивала остальные, убивала воспоминания о милых девочках, когда-то столь благоразумных и желанных, о грозном любопытстве Нупперца, обо всем, что было у него «с кем-то». Пожалуй, лучше вовсе не возвращаться к местам своих воспоминаний. Мешают ведь не конвоиры, что неотступно бредут по пятам, а их мысли и домыслы, которых у них, вероятно, и нет вовсе.

Он пошел по лестнице, лифт вызывать не стал, не хотелось еще и в лифте снова, в который раз, видеть лица задержавшихся с отъездом гостей – Поттзикера, Хербстхолера, да и любого из тех, кто мозолил ему глаза все эти четыре дня нескончаемых заседаний, – Блямпа, который, возможно, все еще где-то тут, друзей, врагов, официантов. Эта вечная

неловкость при встречах в лифте, вымученные улыбки, когда не знаешь, куда деть руки, и пепел с сигары или сигареты стряхнуть некуда (сколько же можно просить Кульгреве распорядиться насчет пепельниц в лифте, придется перепоручить это Амплангеру, уж тот не подведет), и эти вечные шуточки по поводу Тольмсховена, «замка его мечты»: некоторые так вообще считают чуть ли не своим долгом в издевку величать его «Фридрих фон Тольм с резиденцией в Тольме», хотя он, Фриц Тольм, никакой не дворянин, просто родом из деревни, которая обязана своим названием графской семье и ее фамильному замку. При этом ведь все, даже Блямп, в конце концов вынуждены были признать покупку замка «гениальной идеей». Ремонт и модернизация целиком себя оправдали, даже с финансовой стороны; два аэропорта в тридцати, третий в сорока минутах езды, а в крайнем случае можно испросить разрешение на посадку на аэродроме английских ВВС, до того вообще рукой подать. Это ж куда удобнее, чем по нескольку дней, а то и неделями снимать гостиницы, которые всем обрыдли. Он долго и тщетно убеждал руководство объединения купить замок, потом махнул рукой и купил сам – у графа Хольгера фон Тольма, последнего в роду отпрыска мужского пола, который давно переселился в Южную Испанию, все свое время посвятил женщинам и игорным фишкам, безуспешно пытаясь пробиться в международную элиту плейбоев, и являл собой печальное олицетворение распада, в своей откровенности, впрочем, куда более симпатичное, нежели разложение церковников, замазанное штукатуркой благонравия. А Хольгер даже зубы и волосы не уберег. Он еще больше поглупел, стал сентиментален, при случае не прочь был пустить слезу, бедолага Хольгер, на которого он, Тольм, никогда не умел сердиться, а тем более злиться, не умел с юных лет – ведь именно Хольгер покрывал их с Герлиндой шашни, обеспечивал алиби, помогал устраивать встречи; Хольгер, которого война наградила неудавшейся карьерой летчика и свирепыми запоями, годный только на роль неотразимого завсегдатая казино и распорядителя чужих удовольствий, вечно терся при штабах, организовывал званые обеды, добывал икру, поставлял начальству шампанское и женщин, дослужился-таки до майора, хотя под конец был уже настолько слаб в коленках, что сам себе боялся в этом признаться. И пусть этот Хольгер ему чуточку в тягость, все равно он его должник и готов всю жизнь выплачивать тот юношеский долг, даже если Хольгер постепенно действительно станет ему неприятен, этот жалкий человек, позабытый всеми друзьями-приятелями, «абсолютная развалина», как он сам себя называет. Но для него, размышлял он, медленно, очень медленно поднимаясь по лестнице, – для него Хольгер навсегда останется милым мальчуганом, с которым они на «велике» укатывали в Кёльн якобы для осмотра церквей и музеев или за новыми деталями для игрушечной железной дороги, а то и «просто так», а Герлинда уже ждала где-нибудь, обычно на Мозельштрассе, готовая встретить его счастливым смехом и, как сказали бы сегодня, «сверху без».

Тут он невольно улыбнулся: за Тольмсховен он ведь явно переплатил, и все ради Хольгера и Герлинды, которая тоже вдруг объявилась невесть откуда, неожиданно добропорядочная, располневшая, уже на седьмом десятке, замужем за простым смертным, без всяких «фон», – некто Фоттгер, доктор юриспруденции, служит в министерстве иностранных дел – она улыбнулась, даже покраснела слегка, чего с ней раньше не случалось, сказала:

– Деньги нам вовсе не помешают, детям ведь надо учиться, пока мы с мужем по свету колесим. И я очень рада, что замок перейдет к тебе. А еще – я иногда думаю: зря я тебя не удержала, даже не пыталась. С тобой было хорошо, ты был еще совсем ребенок.

Потом, когда после нотариуса они зашли в кафе Геццозера и Фоттгер, судя по всему социал-демократ, принялся защищать восточную политику⁵, она, по счастью, даже не подумала с ним заигрывать: никаких доверительных прикосновений, вздохов, томных взглядов

⁵ Имеется в виду нормализация отношений с Восточной Европой (договоры ФРГ с СССР и ПНР 1970 г., ГДР – 1972, ЧССР – 1973) при Вилли Брандте, федеральном канцлере в 1969–1974 гг.

– ничего, и слава богу, все равно ничего бы не вышло. Она ведь никогда не была особенно хорошенькой, привлекательной – да, но не хорошенькой, и, наверно, давно уже не была легкомысленной. А еще он вспомнил о старой графине, которая так о нем заботилась. С непонятным упорством настаивала, чтобы он доучился, защитил диплом, и была особенно добра к Кэте. И вот он вернулся в Тольмسخовен новым хозяином и сразу предложил замок Объединению в качестве постоянной резиденции. Тут все было – телетайп, телефонная связь, лифты, вышколенный и абсолютно надежный персонал, сауна, излюбленный всеми игровой салон, где можно перекинуться в покер, а если охота, то и во что-нибудь поазартней, да и с Кульгреве ему повезло (хоть тот и забывает про пепельницы в лифте) – предупредителен, скромен, работает с душой. А решающим аргументом оказалось (тогда-то и речи об этом не было) идеальное расположение замка с точки зрения безопасности: широченный ров с водой, превосходно просматривающийся французский парк (пусть сколько угодно называют его «доморощенным Версалем», пусть смеются, сидя в своих роскошных пузатых виллах, задавленных «добротным» шифером снаружи, лоснящихся латунью внутри) – до самого леса гарантирован безупречный обзор. Даже в плане вложения капитала замок с его отлично оборудованной кухней и подсобными помещениями сулил выгоды: в случае чего его запросто можно продать под первоклассный отель, если бы – и тут он подумал о детях, которым Тольмسخовен всегда был не по душе, подумал о внуках, – если бы... если бы не мрачные прорицания Кортшеде, которые перечеркнули все надежды, все планы; ведь, в конце концов, замок представляет и немалую историко-архитектурную ценность, заложен в XII веке, перестраивался и достраивался во все последующие века, это же наглядное пособие по истории архитектуры – и ничего, ничего не останется. Все ближе угольные карьеры, все ближе электростанции, все гуще дымные облака на горизонте. «Сносить и копать, копать и сносить», – так это у Блямпа называется. И тихий Кортшеде тоже подтвердил:

– Все давно решено, даже то, что еще и не решено вовсе. Сам увидишь – они все будут заодно, профсоюзы и работодатели, государство и церковь (он всегда почему-то упоминал о церкви со странным смешком, словно это вздорная и своенравная старая дева из богадельни), – все давно решено, и случится еще на твоём веку: все снесут, камня на камне не оставят, так что лучше уж тебе подготовиться. Самое страшное – это когда профсоюзы и работодатели заодно. Энергоресурсы, занятость – да ты сам все прекрасно знаешь.

Четыре пролета, одиннадцать ступенек, и каждую он знает как родную, до мелочей, до малейшей щербинки, он помнит, где медные прутья на ковровой дорожке разболтались и надо следить, чтобы не споткнуться. Он яростно, если верить архитекторам – «с почти необъяснимым упорством», отвергал все предложения подправить лестницу, заменить дорожки, и они, конечно, правы, сентиментальность необъяснима, да и откуда им знать, сколько раз в юности он поднимался, а случалось, и крался по этой лестнице, чтобы проникнуть в комнату Герлинды, где теперь обосновался Блямп.

Он устал, он чувствовал годы – старость свинцом заливает ляжки, норовя переползти ниже колен; и он опять ощутил страх, теперь уже новый: придется переезжать, выметаться – но куда, куда? Во всей деревне камня на камне не останется, ни лужка, ни травинки, ни единого деревца на кладбище, и он не мог поверить – неужели они и новоготическую исповедальню потащат с собой, неужели Кольшрёдер возьмет с собой свою Гертю – туда, в Ной-Тольмسخовен, где он поселится в еще более шикарном доме, повесив рядом Шагала и Уорхола⁶, неужели все, все стронется с родных мест – девочки-старухи Анна и Берта, крестьяне со всем хозяйством и даже кладбище, как это уже случилось с Айкельхофом, как это было с Иффенховеном? Айкельхоф семья ему так и не простила, даже Рольф, а уж Кэте и подавно, а ведь должны бы понять, что тут он совершенно бессилен и безгласен, совсем не боец, да и не

⁶ Энди Уорхол (р. 1927) – американский художник-авангардист, также кинорежиссер.

был никогда, должны понять, что и деньги тоже манили, деньги и новая недвижимость, а все из-за незабвенной бедности, что въелась в него с детства, и еще, наверно, из-за отцовской жажды земли. И потом – ну почему, черт возьми, именно тут, где все они родились, выросли, жили, – почему именно тут оказалась такая прорва угля?

Гребницу так и не удалось приучить его к трости, и теперь он прикидывал, что смешнее: вот так цепляться за перила или ковылять по лестнице с тростью, а то, может, призвать на помощь Блуртмеля, который, конечно же, будет готов в любую секунду его подстраховать. Рано или поздно ему останется только трость или лифт, если не то и другое вместе, а потом в один прекрасный день и кресло-каталка, куда Блямпы уже сейчас с превеликим бы удовольствием его усадил. Президент в инвалидном кресле, добренький, седой, интеллигентный, – это же просто лакомый кусок для журналистов, он прямо слышит, как они захлеб сравнивают его с Рузвельтом⁷, а его либеральные методы управления с рузвельтовским «новым курсом»⁸ – аналогия столь же немудрящая, сколь и неизбежная; у них всегда под рукой ворох сравнений, штампов, даже аллегорий, целые обоймы таких же идиотских банальностей по любому поводу и на все случаи жизни; а какой это будет для них подарок, если «те» – кто? когда? как? – однажды «достанут» его прямо в кресле, желательно, правда, чтобы кинокамера оказалась поблизости, дабы запечатлеть, как он, весь в крови, вываливается из кресла, а кресло вприпрыжку катится вниз по лестнице, тут уж сравнения не миновать – кино, «Броненосец «Потемкин»⁹. Лестница – детская коляска, лестница – кресло-каталка, и, конечно же, оператор чертыхнется: «Проклятье, почему лестница такая короткая, всего одиннадцать ступенек, здесь же нужен долгий план!» – и еще, чего доброго, чтобы продлить план, спихнет заляпанное кровью кресло в следующий лестничный пролет.

Он вздрогнул – Блуртмель распахнул перед ним дверь, едва он прикоснулся к ручке; подумалось: «Так вот и будет, это будет кто-то, кого я хорошо знаю, кому доверяю, кто выдержал все проверки». Черт возьми, неужто Блуртмель – научился видеть сквозь стены? Или кто-то успел ему сообщить: «Подошел к двери, сейчас возьмется за ручку». Не исключено, ведь они, или по крайней мере один из них, обязательно караулят наверху, укрывшись где-нибудь в нише, за дверным косяком, в темном углу, за выступом стены, и у каждого переговорное устройство. И у Блуртмеля оно есть, так что любой охранник мог – просто по дружбе – предупредить: мол, старик на подходе. Одно нехорошо – когда дверь так внезапно открылась, он от неожиданности споткнулся и чуть не упал, Блуртмелю пришлось его подхватить, неприятная и совершенно излишняя демонстрация его физической немощи, которую, конечно же, припишут его общему состоянию, а не тому чисто техническому казусу, что дверь подалась внезапно и слишком легко. Он, слава богу, еще в силах нажать дверную ручку и войти в комнату без посторонней помощи.

Подобное чрезмерно предупредительное внимание давно стало для него приметой все более строгого заточения, когда любая забота, даже невинный жест вежливости кажутся проявлением бдительности и, значит, угрозы. До сих пор жуть берет, стоит лишь вспомнить, какого ужаса нагнал на них Кортшеде, когда взвизгнул и как безумный кинулся бежать вокруг стола заседаний, и все из-за того, что официант без предупреждения щелкнул зажигалкой, давая ему прикурить: внезапная тень за спиной, мягкий щелчок зажигалки, который вполне можно принять за бесшумный выстрел, – все это лишило беднягу остатков самообладания, бесшумная вежливость его доконала; не переставая вопить, он метался вокруг стола,

⁷ Франклин Делано Рузвельт (1882–1945) – президент США в 1933–1945 гг.

⁸ Система мероприятий в 1933–1938 гг. для ликвидации последствий экономического кризиса конца 20-х – начала 30-х гг.

⁹ Имеется в виду классический эпизод из фильма С. Эйзенштейна (1925), где вниз по ступеням одесской лестницы катится коляска с ребенком, выпущенная из рук смертельно раненной матерью.

потом бросился к двери, дверь на замке, он бегом обратно, он не мог остановиться, и никто не мог его удержать, пока наконец Амплангер буквально не стиснул его в объятиях, но он вырвался (что дало Блямпу, который любит пройтись насчет гомосексуальных наклонностей Кортшеде, повод для циничной шуточкой: «Как святой Иосиф от жены Потифара¹⁰»), оставив в руках у Амплангера свой пиджак, после чего пришлось уже попросту «брать» его с помощью полицейских, те обучены приемам и применили их весьма энергично; выглядело все это довольно жестоко, но, наверно, так надо, они его схватили, зажали ему рот и не выпускали, пока не подоспел Гребницер со шприцем, – Кортшеде ойкнул, дернулся, обмяк, его отнесли в его комнату и приставили к нему медсестру, пока за ним не приехали домочадцы.

Блуртмель – вид у него был слегка сконфуженный – помог ему дойти до кресла у окна, принес стакан минеральной, плеснул немного виски и сказал:

– Ваша жена просила передать, что вернется примерно через час, к шести, я тогда подам чай и тосты. А пока приготавливаю ванну.

В свое время им стоило немалых трудов отучить Блуртмеля называть Кэте не иначе как «ваша супруга» или «милостивая госпожа». Ему претят подобные церемонии, Кэте их вообще не переносит, и все же на первых порах все просьбы отказаться от чопорных обращений Блуртмель воспринимал со скрытым негодованием, как вероломное посягательство на его неотъемлемые права. В конце концов удалось это уладить, сведя все к шутливой игре. Теперь всякий раз, стоило Блуртмелю произнести «ваша супруга» или «милостивая госпожа» (он в таких случаях смущенно признавался: «опять вырвалось»), он «платил штраф» – сигарету, которую обязан был положить в изящную малахитовую шкатулку, подаренную Тольму одним советским человеком.

Недавно в Тролльшайде, в санатории, куда он ездил навестить Кортшеде и где они, укрывшись от дождя, пили чай на веранде, тот исповедался ему в своих потаенных страстях, сила которых, а особенно зависимость Кортшеде от некоего Петера, зависимость, которую даже сам Кортшеде называл «кабалой», его просто потрясла. Этот Петер числился особо опасным преступником, его стерегли денно и нощно, а тем более во время их с Кортшеде ночных свиданий; он проходил первым номером по делу о шантаже и разбое с убийством, и ночь напролет микрофоны прослушивали каждый звук, жадно отлавливая «существенные для следствия» детали, а возможно, и полное признание обвиняемого.

– Мне пришлось на это пойти, иначе ему не разрешили бы со мной видаться, и представляешь, хочешь верь, хочешь нет, мальчик меня любит, а я его предаю. Сам посуди, на что я после этого годеи; дверь в доме скрипнет – я вздрагиваю, или вот сейчас, извини, ты чашкой о блюдечко задел, а я чуть не заорал.

Это он, Кортшеде, сулил Тольмسخовену еще только четыре, от силы пять лет. Кэте он решил ничего не говорить – зачем волновать ее раньше времени, какой смысл? Трудно представить, что ничего, ничего здесь не будет, только экскаваторы, ленты транспортеров, насосы – и провалы карьеров, в которых гуляет ветер, и еще одна электростанция, изрыгающая облака; замок у него откупят, ему щедро заплатят за эту реликвию, этот осколок древности, в стародавние времена пожалованный в награду за победоносную битву некоему Тольму, воевавшему то ли за, то ли против испанцев, вместе с хозяйкой-графиней, которая была то ли против испанцев, то ли за них и которую силой выдали за него замуж. Они снесут и перекопают все, церковь и замок, дом Кельцев и дом Пюцев, и дом Коммерцев тоже, и тихую беседку в саду священника, где летом так приятно было посидеть и выпить вина, пруд и мостик, уток и сов – горемыка сова, ей-то куда податься?

¹⁰ Согласно библейской легенде, жена египтянина Потифара, рабом которого был Иосиф, хотела его соблазнить, «но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал, и выбежал вон» (Бытие, 39, 7–12).

– Все давно решено, Тольм, давно и бесповоротно, задолго до всех дискуссий и гражданских инициатив, которым они позволяют шуметь сколько влезет, понимаешь, поезд ушел, он еще не тронулся, но уже ушел, там же миллиарды тонн, и ничто, ничто их не остановит, они до этих тонн дорвутся – поверь мне, до самого Хетциграта и дальше ни кола ни двора не останется, ни одно деревце не устоит, ни одна улитка не уберезет свою раковину, ни один крот не отсидится в своей кротовине, они до голландской границы дойдут, а в один прекрасный день и голландцев подроят, если там тоже обнаружится уголь... Это бесполезно, Тольм, говорю тебе, дорогой Фриц, совершенно бесполезно, так что, если ты намерен и дальше перестраивать Тольмсховен, воля твоя, деньги тебе, конечно, возместят с лихвой, но труды, хлопоты, нервотрепка – зачем тебе это? Лучше не связывайся. Поверь, чертежи готовы, сметы подбиты, дело на мази.

Бедняга Кортшеде, в тот дождливый день, там, в Тролльшайде, за чашкой чая на веранде, он ведь жить не мог без своего Петера и без уколов. А потом с улыбкой добавил:

– И ты, конечно, знаешь или по крайней мере догадываешься, что «Листок» тоже отпадает – Цуммерлингу и мне, Цуммерлинг загребет его не хуже, чем экскаваторы твой замок. Надо было тебе получше за своим хозяйством смотреть, Фриц, в газетах не только культурную страничку читать, но и в экономический раздел заглядывать. И еще мой тебе совет: никогда ничего не затевай против клана Фишеров, ты же знаешь, у Цуммерлинга есть фотографии, доказывающие их причастность к Сопротивлению, они неопровержимы. Благонамеренный текстиль против либеральной газетенки, нет, добром это не кончится, при твоих-то сомнительных родственничках – Рольф, Вероника, Катарина, – и думать забудь! Поостерегись, Фриц!

После инцидента с Кортшеде в их разговорах об охране и безопасности от былой иронии не осталось и следа; разве что Блямп иной раз позволял себе колкости исподтишка. Их отношение к сотрудникам охраны тоже изменилось, после припадка Кортшеде и речи быть не могло о прежнем дружелюбном подтрунивании, а уж после истории с именинным тортом Плифгера и вовсе стало не до шуток, – вот когда прибавилось работенки у психолога Кирнтера, вот когда Хольцпуке, начальнику службы охраны, пришлось проводить долгие собеседования, вежливо требуя «надлежащего понимания», в конце концов его люди всего лишь исполняют свой долг, да ведь и им, подопечным, наверно, тоже не хочется рисковать жизнью, значит, надо спокойнее относиться к неизбежным, хотя, он согласен, и неприятным процедурам, как-то: предварительный осмотр кабинки при посещении туалета или особо придирчивая проверка приезжающих в замок «посетительниц», и, уж конечно, он в первую очередь просил бы – убедительно просил бы – впредь избегать эскапад вроде тех, что время от времени позволяет себе Кэте. Как будто безопасность – что внешняя, что внутренняя – еще возможна! Он-то знает: все эти профилактические меры хоть и необходимы, но ничего не способны предотвратить.

И все же как приятно, как покойно смотреть в окно, поверх террасы, туда, где за широким ровом раскинулся парк, и воображать семейное торжество, на которое когда-нибудь снова соберутся все дети и внуки; летний вечер, праздник под открытым небом, бумажные фонарики – раньше дети называли их «китайцами», – скромный домашний фейерверк для внуков, шарики мороженого в вазочках, жаровня, мясо на вертеле, коктейли, да все, что душе угодно; и как горько сознавать, что об этом пока (если б только пока) нечего и думать – какие уж тут семейные сборища, когда в списке «факторов повышенной опасности» значится даже один из его сыновей, а его зять отказывается «сесть за один стол с этим типом, который даже после ноября семьдесят четвертого¹¹ имел наглость назвать своего ребенка Хольгером». Еще

¹¹ В ноябре 1974 года в тюрьме после длительной голодовки умер Хольгер Майнс (1941–1974), один из членов терро-

четыре года, от силы пять... Ничего, пока еще рано страшиться переезда, но он знает, что страх уже поселился в нем и гложет душу: «ни одна улитка не уберезет свою раковину, ни один крот не отсидится в своей кротовине...»

А уж «те» позаботятся, чтобы у него больше не было семейных праздников, и среди «тех» — его бывшая невестка, она тоже с ними, теперь это уже почти несомненно, и еще некто, кого он на свои деньги обучил банковскому делу и кто в Айкельхофе так часто бывал у него в гостях.

По счастью, Блуртмель с течением лет научился угадывать его настроение — похоже, он все еще переживал недоразумение с дверью. Потому и вышел из комнаты, не дожидаясь, пока хозяин попросит ненадолго оставить его одного, и даже подвинул на расстояние вытянутой руки малахитовую шкатулку, хотя Гребницер строго-настрого наказал: ни в коем случае не держать сигареты под рукой! Но он лучше достанет свою смятую пачку, там вроде еще оставалась одна сигарета, да, вот она. Кривая, увечная, почти сломанная, но он ее выправил, разгладил, закурил — смотри-ка, тянется. При ближайшем рассмотрении в пачке обнаружилась еще одна сигарета, сломанная, — он скрепя сердце выбросил пачку; голод курильщика, память о нем засела глубже, чем память о простом голоде, засела так же глубоко, как память об исповедальне и о Герлиндином «помилуем друг друга», так же глубоко, как прелый запах осенней листвы в Дрездене; это память об унижительных «собеседованиях», а по сути — допросах, когда какой-нибудь хлыщ, пуская струи ароматного дыма прямо ему в лицо, одну за одной потягивал превосходные виргинские сигареты и небрежно швырял их куда-то за спину, на пол, почти целехонькие, не докурив и до половины; он помнит, чего стоило тогда отказаться от предложенной сигареты, но он догадывался: сигаретой у него хотят выманить признание в том, чего он никогда не совершал. Он и ведать не ведал, что его крестный, дядюшка Фридрих, которого он и не помнил толком — ну, объявлялся иногда на день рождения, приносил подарки, — что этот дядюшка именно ему завещал «Бевенихский листок» и что никто, никто из его родичей ни разу не приложил руку к пресловутой ариизации¹². Да, в январе сорок пятого он участвовал в войсковых передвижениях, а проще говоря, то и дело отступал в районе баварско-чешской границы, но не более того, хотя и не менее; да, диплом он защитил по теме «Прирейнская сельская архитектура XIX века» и только здесь, в лагере, узнал, что является законным владельцем «Бевенихского листка». Эти сигареты, груды виргинских сигарет, которые они выбрасывали, можно сказать, едва пригубив, — об этом он мог рассказать только Кэте, больше никому, тем паче Блямпу, хоть именно там, в лагере, они и познакомились. Вот уж кто действительно был нацист (текстиль, они всей семьей по уши увязли в текстиле) и всегда и всюду, во «всех житейских передрыгах», как он сам бахвалился, «имел все наилучшее» — в военное и мирное время, в плену и на воле, в хижинах и дворцах «всегда имел только все наилучшее». В лагере он безошибочно учуял самого продажного офицера и посулил тому выгодные сделки, в которых он, Блямп, готов был посредничать. Земельные участки, застроенные и незастроенные, с разрушенными и уцелевшими домовладениями, он точно знал, сколько долларов и кому надо предлагать, благо вся поземельная книга округа Доберах была у него в голове, знал, где окопались самые злостные нацисты, даром что сам из их числа, как и у кого из их домочадцев, а то и у них самих, трусливо прятавшихся по подвалам, откупить за добрые старые доллары их дома и участки в порядке, как он выражался, «деаризации» — через посредников, разумеется; а с долларами те могли

ристической организации Баадера — Майнхоф, которая к тому времени считалась ликвидированной. Однако смерть Майнса сразу всколыхнула новую волну террористических акций; первой было похищение и убийство 10 ноября 1974 г. Понтера фон Дренкмана, председателя Верховного суда Западного Берлина; выяснилось, что террористическое подполье отнюдь не сломлено и многие все еще на свободе.

¹² Национализация имущества еврейских семей при фашизме.

благополучно смыться на все четыре стороны, так что Блямп одним выстрелом убивал двух зайцев: нацистам помогал бежать, офицеру – обогащаться, и, понятное дело, вправе был рассчитывать на комиссионные, с обеих сторон и, само собой, в долларах, на которые он тоже мог то тут, то там отхватить участок, само собой, через подставных лиц, кто же в ту пору разрешил бы нацисту такого калибра приобретать участки прямо из лагеря. Ходили темные слухи, будто Блямп в сопровождении небольшой, но дружной команды американцев «чистил» подвалы разбомбленных банков, если верить слухам, они просто подъезжали на бронетранспортере, взламывали сейфы и несгораемые шкафы, гребли все подчистую, «гребли деньги и ценности чуть ли не лопатой», благо вокруг царили хаос и запустение; вскорости Блямп был уже своим человеком в комендантском бараке, ему разрешали звонить по телефону, отлучаться из лагеря, американцы всюду таскали его с собой, и в бордель тоже, и это в ту пору, когда все, все они, стоило им завидеть женщину, даже издалека, какую ни на есть, готовы были чуть ли не разрыдаться; их, соседей по бараку, он пичкал хвастливыми подсчетами своих эрекций, целыми блоками приносил сигареты и в знак особой милости разрешал иногда понюхать, чем доводил их до иступления; вот так этот «текстильный гений» сделался гением недвижимости; глядя на него, совсем нетрудно было представить, как он орудует под сводами банковских подвалов. А вскоре его сделали – как же это тогда называлось? – «окружным текстиль-уполномоченным».

Нет, Блямп слишком хорошо знает его слабость к табаку, он и сейчас, стоит закурить, ухмыляется и многозначительно бормочет себе под нос: «О Виргиния! Ах Виргиния!»; и всюду у Блямпа свои люди, всюду у него есть прикрытие – в верхах и в тылах, по эту, а может статься, и по ту сторону океана, нет, такого с кашей не съешь; конечно, не только Блямп, все они знают о его слабости, но не знают, откуда она, – только Кэте, ей он все рассказывал, но даже ей невдомек, что с сигаретами все обстоит точно так же, как с молочным супом: ему не воскресить тот вкус, тот запах, тот виргинский аромат – его не вернешь, сколько ни ищи, сколько ни гонись за ним, а он и курит-то, может быть, только для того, чтобы его вернуть, но, увы, тщетно.

За лесом уже сумерки, в розовом закатном небе сереют кроны старых деревьев, могучих вековых исполинов, к которым скоро полетит сова; эти деревья ему даже дороже, чем замок, он иной раз спрашивает себя: не из-за деревьев ли купил все имение, ведь в Айкельхофе были почти такие же; бесшумно и уверенно пролетела сова, быть может, та самая, что жила у них в Айкельхофе и по вечерам вылетала из башенки, устремляясь к кромке леса, а они с Кэте провожали ее глазами. В первый раз, когда сова призрачной тенью отделилась от башенки, Кэте испугалась, вцепилась ему в плечо и прошептала: «Уедем отсюда! Уедем!» – за двадцать лет до того, как им и вправду пришлось уезжать. Еще она боится совиных криков, и перед грозой, когда вороны и скворцы, внезапно снявшись со своих гнезд, стремительно улетаются куда-то вдаль, она и теперь испуганно вцепляется ему в плечо.

Ничто не омрачает вида за окном, не слышно ни отъезжающих машин, ни ровного гудения лифта, ни сытого хохота Блямпа, способного заглушить даже лифт, этих триумфальных раскатов смеха, с которыми он всем и каждому возвещал, как ему наконец-то удалось добиться избрания «одного из старейших наших членов, одного из лучших в наших рядах», и это в ситуации, когда отвод или самоотвод был совершенно исключен, просто невозможен – наготове было множество штампованных аргументов, которые он сам же был вынужден отбарабанить в своих интервью: «В час наивысшей опасности... Когда каждый из нас выдерживает проверку на прочность... Наша стойкость...» Разумеется, тут самое время выбрать именно его, наиболее уязвимого, самого слабого, к тому же повязанного с «теми» узами родства, именно его и как раз в ту пору, когда любому ясно, что родственные узы только усугубляют его уязвимость, – и все равно ни в частной беседе, ни наедине с собой, ни тем

более публично он не отрекся от Рольфа. Это был вопрос, публичного ответа на который более всего страшились его друзья и враги и менее всего – он сам; все видео- и магнитные пленки запечатлели одни и те же стереотипные формулировки:

– Это мой сын, он преступил закон, понес заслуженное наказание и с тех пор живет в согласии с законом.

Его так и подмывало, впадая в библейский пафос, возгласить: «Сей есть сын мой наи-возлюбленный, в котором мое благоволение»¹³. И даже вопрос о Веронике был ему нипочем:

– Это моя бывшая невестка, ее подозревают в тяжких преступлениях, местонахождение ее неизвестно. При разводе, еще до преступлений, суд присудил ей моего внука, который исчез вместе с ней. Да, у него наша фамилия, моя и моего сына.

«Заблудшие дети?» – нет, это не те слова, ему иногда кажется, что они пришельцы из иных галактик, обитатели других планет, тут не годятся обычные мерки и обычные слова. «Безумцы?» Опять-таки слишком житейское, слишком земное определение. Да, с Беверло он тоже знаком, тот нередко бывал у него в гостях и казался ему очень милым. «Милым?» Да, «милый» ведь тоже понятие растяжимое, оно мало что говорит о самом человеке, о том, чего от него ждать, на что он способен. Пожалуй, на «милых» не следовало бы слишком полагаться. В конце концов, преступность ведь не сегодня родилась, да и убийство со времен Авеля тоже не бог весть какая новость.

Рано или поздно они его все равно «достанут». (Кто? Когда? Как?) Нет, страх не возвращался, его окончательно вытеснило любопытство, в глубине которого, впрочем, уже копшился другой, новый страх – изгнание из Тольмسخовена. Вполне вероятно, что Блямп просто решил его использовать как подсадную утку – старик, немощный и больной, доходяга, такой только и годится на роль жертвы, такого сам бог велел выкатить под пули – на лестницу, в инвалидном кресле. «Броненосец Потемкин». Не какой-нибудь пошлый буржуй с бычьим загривком – добренький, седовласый, культурный, милый старичок, такого очень бы украсил терновый венец. Но он не хочет никакого венца, он предпочел бы спокойно пить чай и наблюдать за полетом птиц – элегантным и величавым парением крупных пернатых хищников и суетным, торопливым порханием прочих шустрокрылых, из которых ему особенно милы ласточки. И чтобы рядом, где-нибудь в уголке, сидела Кэте – с вязаньем или за роялем, на котором она иногда любит, хоть и не очень-то умеет, тренькать; и трое внучат, из которых сразу двоих зовут Хольгер, одному семь, он где-то далеко, в Ираке или в Ливане, а другому три, этот в Хубрайхене, в двадцати километрах отсюда, бойкий карапуз, а он даже не знает толком, какая у карапуза фамилия. Ему до сих пор так и не удалось выяснить, живет Рольф с Катариной просто так или все-таки женился. Неловко спрашивать об этом Хольцпуке, начальника охраны, и уж тем более неловко просить его навести справки. Кэте – та могла бы, она могла бы спросить Рольфа или Катарину напрямик, а он не решается, он заранее знает, что услышит в ответ: «Если тебя действительно интересуют эти формальности, если вся эта дребедень тебя хоть сколько-нибудь волнует, – пожалуйста, давай исключительно ради твоего спокойствия считать, что мы женаты (или не женаты). Ненужное зачеркнуть». Вопрос этот мог быть для них существенным лишь по тактическим соображениям и, разумеется, временно, из-за каких-нибудь бумаг, но помимо этих соображений никакого интереса не представлял, не стоил даже упоминания. Пожалуй – да нет, почти наверняка, – они не женаты, ведь тогда Катарине полагается какое-то пособие; но сам по себе «вопрос брака» их не интересовал, для них его просто не было. То есть в техническом и, как следствие, политическом смысле – конечно, но больше ни в каком. К религии и церкви они относились точно так же. Разумеется, они существуют, это не подлежит сомнению, но

¹³ Евангелие от Матфея, 3, 17.

когда Рольф добавлял: «Как картошка, она ведь тоже растёт», в самом сравнении слышался назидательный намек – дескать, картошка имеет природное право на существование, кроме того, от нее польза, человек ею кормится, но религия и церковь – какой от них прок? Они, безусловно, существуют, в этом не приходится сомневаться, но не более того. Тут просто не о чем говорить, не о чем спорить, а что отец Ройклер в Хубрайхене был к ним добр, дал им кров, принял их под свою защиту и покровительство, оградил от нарастающей, хотя и скрытой вражды, предоставил в их распоряжение свой огромный сад за смехотворно низкую «натуральную оплату» яблоками, картошкой и яйцами, так они объясняли его доброту отнюдь не религиозностью и тем паче не церковным саном, а его человеческими качествами, тем, что он – и притом именно вопреки религии и церкви – остался или стал человеком, да еще и подчеркивали, что отсутствие доброты в данном случае было бы куда «типичней»; они даже готовы признать, что благодарны ему, вообще считают его «очень милым и человечным», но, в конце концов, встречаются очень милые и человеческие капиталисты и даже милые советские коммунисты, милые либералы, и сами они в некотором роде тоже вполне милые люди.

Откуда это в них – для него загадка; ведь все, все они – Рольф и Катарина, Вероника и даже Беверло – лет десять назад были всерьез верующими, почти ревностными прихожанами, и разве что пресловутое «один или с кем-то» не мучило их до такой степени, как его в их годы; яростное негодование против церкви, ненависть к религии, стремление опровергать ее с пеной у рта, оскорблять чувства других верующих, например Кэте и Сабины, в которых эти чувства еще столь живы, да и его собственные, пусть они живы больше в воспоминаниях, – это он еще мог бы понять; но им даже воспоминание не причиняет боли, вот они и стали в его глазах «инопланетянами», пришельцами с другой звезды, из иных галактик. Хотя ведь ему не горек чай, который он у них пьет, и хлеб, что он у них ест, и яблоки, которые они кладут ему в машину; ведь это его дети, а чай, хлеб, суп и яблоки – все такое земное и здешнее. Но его страшит неземная чуждость их мыслей и дел. Не холодом от них веет, а именно чуждостью, от которой можно ждать всего, в том числе и внезапного выстрела, и взрыва гранаты, – но все же и этот страх сменился теперь любопытством: Рольф, его родной сын, который выращивает помидоры, окапывает яблони, держит кур, сажает картошку в Хубрайхене, в роскошном старом саду священника за высокой каменной стеной; а живут в лачуге, иначе не скажешь, хотя лачуга на вид даже веселенькая, они ее покрасили, и герань в окошках; с красным эмалированным бидоном ходят по вечерам за молоком к крестьянину Гермесу, иногда заглядывают в один из двух деревенских кабачков, пьют пиво, и Хольгер с ними – ему берут лимонад, – прямо-таки идиллия, сплошная идиллия без малейшего привкуса горечи. Они давно уже не пытаются растолковать крестьянам и рабочим *свою*, да, именно «свою» модель социализма, не реагируют на оскорбительные пьяные выкрики, не заводят разговоров о сельскохозяйственной политике, забастовках и дорожном строительстве, не вступают в беседы с заносчивыми болтливymi юнцами-мотоциклистами, улыбаются, потягивают пиво, говорят о погоде; и все же за всем этим – где? в чем? – за всей этой идиллической оболочкой, в которой даже намек нет на искусственность (сияющий свежей побелкой домик, зеленые ставни, красная герань), таится нечто, отчего впору прийти в ужас: какое-то жуткое спокойствие, уверенность и ожидание – но чего, чего? Катарина по-прежнему без работы, правда, несколько деревенских женщин доверяют ей своих детей, она ходит с ними гулять, в лес и в поле, рассказывает им сказки, а в дождливые дни в доме священника, в зале занимается с ними гимнастикой, учит танцевать и петь, – разумеется, ей за это платят, – и когда он думает о Рольфе и Катарине, об этом их жутковатом спокойствии, на смену страху приходит не только любопытство, но и зависть. Они под надзором, но хоть не под охраной, и ему иной раз кажется, что такая жизнь много лучше, ведь с тех пор, как Вероника начала им звонить, все они – он, Кэте и Сабина – угодили и под охрану, и под надзор. Рольф, тот, похоже, вполне

освоился, видно, и вправду что-то смыслит в моторах, если у кого забарахлит трактор или там «хонда», его частенько зовут на подмогу, и машину священника он держит в большом порядке, а миляга священник приглашает их в гости, то на кофе, то на рюмочку, – правда, от разговоров на религиозные темы упорно уклоняется.

Трудно поверить, что оба они – и Рольф и Катарина – еще каких-нибудь двенадцать, даже десять лет назад ходили в церковь, к Кольшрёдеру: милые, симпатичные молодые люди с молитвенником под мышкой, и это в те годы, когда Кольшрёдер куда более гневно, чем сейчас, клеймил упадок нравов. И их ничуть, нисколько не задевает, что теперь сам Кольшрёдер стал жертвой этого упадка. Они находят абсолютно «логичным», что он спит со своей Гертой, – правда, «логичным» в другом смысле, нежели крестьяне, те все списывают на природу. Их совершенно не возмущает, не оскорбляет их вкус (для них это не вопрос вкуса), что молоденькие девушки, желая чего-то добиться от Кольшрёдера – выпросить церковный зал для танцев, кинофильма, наконец, просто для молодежного диспута, – идут к нему и без всякого стеснения «дают на себя посмотреть», с большей или меньшей откровенностью «показываются», иной раз даже в присутствии Герты. Рольф и Катарина не считают это мерзостью, впрочем, естественным тоже не считают, – просто, на их взгляд, таков уж сам «порядок» и «условия», подчиняющие человека «порядку», а естественного тут, конечно, и в помине нет; они усматривают тут совершенно особую форму угнетения, симптом распада и гнилости, и их почти радует, что симптом проявляется столь неприкрыто. Они и Ройклеру, своему милому священнику, прочат сходную участь, – дескать, он тоже жертва системы, и ему тоже придется тяжело, только он, мол, не станет предаваться буржуазной похоти, а просто сложит с себя сан; по нему и сейчас видно, достаточно взглянуть, как он держится с женщинами и девочками – с какой-то скорбной болью, отрешенно и скованно; конечно, он им нравится, и они бы рады его выручить, подыскать ему хорошенькую девицу или молодую женщину, чтобы он с ней сбежал. Они, кстати, не считают, что Кольшрёдер в своем роде «тоже человек», – напротив, он, по их мнению, в классическом виде воплощает и реализует в себе бесчеловечность системы. Бесчеловечность же проявляется в том, что человека на «законных основаниях» обездоливают, да еще в рамках правовой системы, которая имеет свое, особое правосудие, и все это в демократическом (ха-ха!) государстве: сперва с него берут обет целомудрия, а потом втихаря позволяют держать при себе Герту и сквозь пальцы смотрят на сомнительные забавы с девочками, и эта негласная терпимость во сто крат унизительнее, потому что в любую минуту против него можно использовать обе формы права – церковное, а при необходимости и мирское, ибо если это правда, что девчонки дают ему «на себя посмотреть», то ничего не стоит подвести эти шалости под статью «принудительное растление», – с учителем-леваком они бы наверняка так и обошлись, пожелай он хоть разок полюбоваться прелестями своей ученицы.

И все же в них сохранилась деликатность милосердия и способность сострадать, которую милосердие дарует: в присутствии Сабины или Кэте они никогда не говорили о Кольшрёдере, не говорили о Ройклере, с которым и правда были ужасно милы – Рольф присматривал за его машиной, ремонтировал ему дом, не дом, а прямо хоромы, двенадцать комнат, из которых восемь пустуют, они усматривали в этом «беззастенчивый подкуп квартирными ценами». Совестьному человеку – а Ройклер, в отличие от Кольшрёдера, человек совестливый – тут есть от чего сойти с ума: иметь под боком восемь пустующих комнат, зная, пусть хотя бы приблизительно, во что людям обходится плата за жилье, восемь свободных, полностью обставленных комнат, в том числе епископская, где за последние шестнадцать лет его преосвященство соизволило однажды даже не переночевать, а всего лишь переодеться, эти восемь комнат, которые Ройклер не имел права сдать, куда он не имел права никого впустить даже задаром, – на языке Рольфа и Катарины это был самый настоящий «шантаж посредством ритуальных традиций, выродившихся в бездумное расточительство». Ройклер охотно

уступил бы им часть своего дома, но не имел права, он мог отдать им только сторожку в саду, две комнатки с верандой и кухней, примерно в пять раз меньше той площади, что пустовала у него в доме. «Нигилизм, – говорил Рольф, – какой ни одному нигилисту и не снился».

Как бы там ни было, они с Ройклером прекрасно ладили, держались с ним дружелюбно, хотя и на свой жутковато-спокойный лад, подчеркнуто ровно, на удивление благоراضно, а подчас и с неожиданной сердечностью. И все же, наверно, все это лишь маскировка. Наверно, они решили годика три-четыре отсидеться в Хубрайхене, пожить в своем побеленном домике с зелеными ставнями и геранью в окошках, добиться доверия и уважения окружающих. Местные уже советовались с Рольфом насчет огорода, с Катариной – насчет детей (прилежание, основательность, упорство – этого им не занимать!), и все же в один прекрасный день, поднакопив этого незримого, этого жутковатого спокойствия, они ударят из засады, – нет, отречься он от них никогда не отречется, но ручаться за них он тоже не стал бы.

А вдруг кто-то из них – Рольф или Катарина – и есть тот самый «кто?» Возможно ли? А почему бы и нет? Пожалуй, скорее уж Рольф, чем Катарина, в Катарине все-таки есть то душевное тепло, то самое, которое он, но только про себя (вслух он никогда бы такого не произнес, даже сквозь двурядность мыслей), называл «коммунистическим теплом», оно напоминало ему о коммунистах времен его детства, времен его юности – о Хельге Циммерляйн, например, его сокурснице, которая умерла в заключении, или о старике Лёре, единственном в их деревне, кто голосовал за Тельмана¹⁴, – дети к нему так и липли, за что его и прозвали Крысоловом¹⁵, – оно есть, это коммунистическое тепло, недаром его еще в студенческие годы так тянуло в красные кабачки.

Нет, скорее уж Рольф, чем Катарина, – у Рольфа в глазах какая-то непостижимая даль, подернутая странной дымкой скорби, плотной завесой, загадочной и почти непроницаемой, особенно когда он играет с сынишкой, с Хольгером, усаживает его на колени или, высыпав из мешочка кубики на пол, принимается строить с ним дом, – в такие минуты он подолгу держит сына на руках и в его взгляде застывает холодная нежность и чужая, нездешняя грусть. Есть что-то жуткое в этом омуте, подернутом ледком нежности и скорби, – такими же глазами он смотрит на Катарину, когда мельком трогает ее за плечо или касается ее руки, давая ей прикурить, принимая у нее чашку, – как же далеки эти мимолетные ласки от вороватой блудливости аналогичных жестов Кольшрёдера! В них говорит немота отчаяния, немота обреченной и давней решимости – только вот на что?

Конечно, то была роковая ошибка судьбы – отпускать его учиться банковскому делу вместе с Беверло, но ведь он так об этом просил. А потом – он ведь даже устроился на работу в один из филиалов Блямпа, был тих и прилежен, пока не начал швыряться камнями, переворачивать и поджигать машины, за коим занятием и познакомился с Вероникой. Он никогда не говорит о своем старшем сыне, не упоминает о Веронике и Беверло, но по сей день от корки до корки прочитывает все биржевые и экономические разделы в газетах и завел странную, неприятную манеру за чашкой чая или кофе, за стаканом молока ни с того ни с сего сухим и отрешенным шепотом изрекать:

– В сегодняшней газете я между строк обнаружил сотню покойников. Впрочем, возможно, только девяносто девять, но не исключено, что и сто двадцать.

Это звучало холодно, точно, информативно – словно штабная сводка из района боевых действий. Рольф тоже так и не сумел растолковать ему «экономические процессы»,

¹⁴ Эрнст Тельман (1886–1944) – деятель германского и международного коммунистического движения, выдвигался кандидатом от КПП в президенты на выборах в 1925 и 1932 гг.

¹⁵ Персонаж немецкой народной легенды; в отместку чудесной игрой на дудочке крысолов заманил в воды реки Везер сначала крыс, потом всех детей города Гамельна.

как любил выражаться Кортшеде, – даже те экономические процессы, что разыгрывались в «Листке» и вокруг «Листка», он никогда в них толком не разбирался, отгораживался от них. А почему, он и сам до сих пор гадает – то ли от лени, то ли из безразличия? Амплангеры, сперва старший, потом младший, отбили у него всякий интерес к этому делу, они ему заявляли: «Вы уж предоставьте это нам».

Блуртмель, к счастью, человек с юмором, что он неоднократно доказывал точными и остроумными репликами, когда вел машину, накрывал на стол, во время массажа, купанья или одеванья, – это юмор опытного массажиста, который досконально изучил чувствительность своего пациента, знает, какие границы переступать не следует и как, не причиняя боли, затронуть самый больной нерв. Он мог, например, как бы невзначай обронить:

– Все-таки позволю себе заметить, что господина генерального директора Блямпа жизнь никогда не была, как вас, и не будет бить.

Блуртмель обнаруживал едва различимые отметины времен детства и юности, военных и послевоенных лет, времен плена, нащупывая следы забытых болезней кишечника и желудка, следы малярии и тифа, шрамы и пустяковые царапины, и приговаривал:

– Все это глубоко сидит, не просто под кожей, а куда глубже. Нет, господин доктор, толстокожим вас никак не назовешь.

Это, конечно, опять-таки был камушек в огород Блямпа. Блуртмель говорил даже о «грузе ответственности», который они «сами тащить не хотят, вот на вас и взвалили», и, похоже, намекал, что именно тут первопричина свинцовой тяжести в его ногах, – отвлечение к «Листку», смертная скука, что охватывает его в те редкие часы, когда он сидит за своим огромным письменным столом, давно уже ничего, ничегошеньки не решая; он обронил «Листок», выпустил из рук, а другие подобрали, он лишь номинально числится хозяином, а заправляет делами старший Амплангер по указке Блямпа. Он только муляж, имитация самого себя и незаменим в этом качестве; клюнул на верняк, на легкие барыши, на куш пожирнее, – все-таки у Блуртмеля удивительные руки, от них проясняется в голове, не то что от расспросов Гребницера, тот иногда беседует с ним часами, но так ни разу и не нащупал корней недуга; дело ведь не в органических изменениях, в конце концов, и инфаркта у него не было, и кровь превосходная – откуда же этот свинцовый холод в костях? Временами, сидя за своим письменным столом – воплощение бессилия в «цитадели власти», в самом «сердце капитализма», – он не на шутку боится, что его и правда разобьет паралич, богатство его будет неотвратимо пухнуть и расти, а сам он, озабоченный лишь тем, как бы не извести лишнюю сигарету, впадет в абсолютную неподвижность.

И вот новый пост, на котором от него тем более не ждут самостоятельных решений, даже если предположить, что он на таковые способен. Они – не только Блямп, но и Поттзи-кер, и Клим, а особенно Амплангер – вполне ясно дали понять: он хорошо сыграл свою роль. Блямп неспроста, конечно, упомянул о культурном разделе в газетах – это недвусмысленный и ехидный намек на статьи, которые он, Тольм, от случая к случаю печатает в «Листке»: Босх, Дали и тому подобное. В его лице объединение наконец-то получило «культурного» президента, то есть нечто сугубо для дам.

Блуртмель постучал, услышал слабое «да-да», вошел и сообщил:

– Ванна готова.

Он явно сконфужен и, конечно же, никогда больше не откроет дверь столь неловко, не выставит хозяина обессиленным стариком, который валится с ног на пороге, – никогда. Он смущен этой своей промашкой, первой за семь лет, но, вероятно, Хольцпуке лично взял его в оборот, отдавал ему приказы по переговорному устройству: «Доктор Тольм, наш президент, очень устал, он из последних сил взбирается по лестнице, теперь он на площадке, берется за ручку – пора!» – вот он едва и не очутился у Блуртмеля в объятиях. С такой же

скрупулезностью и покушения готовят: загадочный «КТО?» сразу принял новое обличие, материализовался в вопросе: а если это Блуртмель? Почему бы и нет? Он улыбнулся Блуртмелю и медленно встал. Разумеется, о Блуртмеле все известно: анкета и биография, вкусы и привычки, известно, кто его подруга, анкета и биография этой подруги, ее привычки и вкусы – но мыслей-то его не знает никто. Кому дано оценить и предугадать, на что способен этот деликатный, чувствительный и потому, вероятно, душевно неустойчивый человек? Уж он-то наверняка достаточно сведущ в анатомии, чтобы придушить старика в ванной и не оставить никаких улик, инсценировав заурядную смерть вследствие очевидного одряхления. Инцидент с дверью его насторожил, прежде Блуртмель никогда не посягал на его самостоятельность в некоторых вещах, позволяя ему собственноручно открывать дверь, закуривать, производить необходимые гигиенические манипуляции в уборной. Ведь вот и Кортшеде он больше двадцати лет знает – утонченного и изящного Кортшеде, который с тихим величием правит своей империей (сталь и бумага, банки и недвижимость) и который, оказывается, разрешил прослушивать шепот своего любимого Петера.

– Да, сейчас иду, – сказал он, улыбнулся и подумал: «Нет, еще не сегодня, сегодня уж точно нет».

II

Она все-таки отправила Блюм вместе с Кит за молоком, хоть молоко ей сегодня не нужно и с собой она его тоже не возьмет; Кит настаивала на этом ритуале, непременно сама хотела нести бидон, по крайней мере в один конец, пока бидон пустой, и полдороги обратно. Все-таки два литра для нее еще тяжеловато. Она обожает смотреть на корову, ей нравится теплый дух стойла, а для Блюм эти походы за молоком – желанный предлог «перемолвиться словечком» с Беерецами, они примерно ровесники, всем около шестидесяти, к тому же состоят в каком-то дальнем родстве, и у них всегда найдется что обсудить из прошлого, настоящего и будущего: каким, например, будет Блорр через десять, а то и двадцать лет, ежели строительство вилл и дорог и дальше пойдет нынешними темпами. Или в который раз погадать, кто же из тридцати четырех избирателей деревни сподобился голосовать за СДПГ¹⁶, целых семь голосов, и тут, как ни раскинь, все равно подозрение падало только на новеньких, тех, что арендовали и отремонтировали бывший дом священника, – люди они, конечно, симпатичные, но их не поймешь, на вид очень даже либеральные, но голосуют наверняка не за либералов, Блёмеры – он архитектор, она адвокатша, дети уже взрослые, четыре машины, а еще брат адвокатши, вечно с трубкой, этот, судя по всему, вообще ничего не делает, только по дому и в саду, – вместе с совершеннолетними детьми как раз семеро и выходит. Главное, у них всегда найдется что обсудить, да и дорога в оба конца займет полчаса, а то, глядишь, и больше – ей надо побыть одной до прихода мамы, до прихода ее славной Кэте, надо мысленно попрощаться с Блорром, и тут она поймала себя на том, что думает о молоке: будет ли Эрвин его пить, поставит ли ему Блюм его любимую сладкую простоквашу, куда вообще девать эти последние два литра из многих и многих литров молока, что они брали у Беерецев, по два литра целых пять лет ежедневно, это ведь тонны получаются. Но ей не до вычислений, слишком она взвинченна, опять этот страх, на сей раз снизу вверх, словно горячая волна, возникшая где-то в пятках, вздымается по ногам, захлестывает живот, тяжелым душным угаром теснит грудь, пока не доберется до головы; а иногда, наоборот, волна идет сверху вниз, сперва ударяет в голову и потом медленно сползает к ногам, – а Гребницер, которому отец по-прежнему верит безоговорочно, только одно и твердит: это от беременности. Конечно, от беременности бывают всякие страхи, но у нее, она чувствует, это

¹⁶ Социал-демократическая партия Германии.

вовсе не от беременности, нет, это совсем другой страх, не тот, привычный, ставший повседневным страх, что они похитят Кит, а может, и ее, или попросту прикончат ее, Эрвина, а то и всех их вместе (она представила, как кто-то перечеркивает ее фотографию и пишет под ней: «отработано»), не тот непостижимый, безотчетный, хотя и вполне отчетливый страх, а совсем другой – осязаемый, близкий, определенный, а она никому не может о нем поведа-ть. Сразу на два страха, да еще такой силы, ее просто не хватает, потому, наверно, преж-ний безотчетный страх вытесняется другим, новым, осязаемым. И так уже три месяца, с тех пор как она окончательно убедилась, что беременна, и не от Эрвина, который до того четыре месяца ни разу к ней не приблизился, во всяком случае так, чтобы от этого можно было забеременеть.

Иногда она даже подумывала о самоубийстве: выпить какую-нибудь дрянь – и дело с концом. Удерживало ее не столько твердое, с детства укоренившееся сознание, что это тяж-кий грех, а скорее мысли о Кит, о Хуберте, о родителях и братьях, даже о Катарине и племян-никах, – и только в последнюю очередь, в наименьшей мере, это она прекрасно понимала, ее удерживала мысль об Эрвине Фишере, ее муже. Уйти от него ей совсем нетрудно, и вот она решила уйти, ни с кем не посоветовавшись – просто отослала Блюм и Кит за молоком, как будто все по-старому. Но по-старому ничего, ничего больше не будет. На сей раз их отпра-вился сопровождать Кюблер, он тоже, как и все прежние охранники, как и Хуберт, вежливо отклонит неизменное предложение зайти в дом и пропустить рюмочку, останется во дворе, сосредоточенный, неприступно корректный, не выпуская из вида калитку и ворота; а ее тем временем столь же бдительно охраняет Ронер, этот не выпускает из виду уязвимые точки коттеджа – террасу, на которой она сейчас стоит и смотрит на деревню, и заднюю дверь, что ведет в сад. Больше всего все они не любят сумерки, из-за этого сейчас, поздней осенью, походы за молоком пришлось перенести на пораньше, но все равно, сколько бы она ни наде-ялась, что Блюм, как обычно, заболтается, до наступления сумерек здесь оставаться нельзя, иначе опять будут неприятности с Хольцпукке – тот не то чтобы злиться, но не может сдерживать недовольства, когда они не соблюдают его советов и указаний, он снова и снова твердит – и с полным правом, она знает по Хуберту, – что у его людей нервы на пределе, что их привле-кут к ответственности, если... Ведь, в конце концов, вся эта история с именинным тортом Плифгера совсем не шуточки, отцу и так уже снятся летающие тарелки, которые будто бы пикируют на них с Кэте, а недавно, после того случая с уткой, он уже и птиц стал бояться, да вон и старик Кортшеде от щелчка зажигалки чуть с ума не сошел. И еще эта пачка сигарет у Плутатти – жуть.

Она за Хуберта боится, не за себя; она-то уж как-нибудь разделается с Эрвином и всей кликой, переживет скандал и вой своры Цуммерлинга; она рада ребенку, который так весело бузит у нее в животе, но она боится за его отца, за Хуберта, за того, с кем уже полтора месяца не может даже словом перемолвиться; с тех пор, как он стал охранять отца и Кэте, ей уда-валось лишь несколько раз мельком увидеть его силуэт, скорее даже почти тень на верхней лестничной площадке замка, но ни поговорить с ним, ни позвонить, ни написать ему она не смеет – из-за Вероники она не только под охраной, но и под надзором, хорошо еще, ни отец, ни Рольф, ни Кэте не проболтались, что она и с этим Беверло когда-то дружила, ведь он же был любимчиком отца и другом Рольфа, чьей женой была тогда Вероника.

Она и за Хельгу боится, жену Хуберта, хоть совсем ее не знает, знает только, что блон-динка, очень добрая и что зовут ее Хельгой; а еще знает, что у них есть сын, милый маль-чуган, зовут его Бернхардом, и скоро ему к первому причастию идти; она знает адрес, но поехать туда, конечно же, нельзя, Кюблер и Ронер, новые охранники, глаз с нее не спускают, ведь не может же она под охраной Кюблера или Ронера заявиться к Хуберту, встать перед домом и ждать, пока не выйдет Хельга с Бернхардом. Развод – нет, для Хуберта это исклю-

чено, а Эрвин, тот все еще так и пыжится от гордости, думая, что она на третьем месяце, когда на самом деле пошел уже шестой.

Четыре месяца его не было – Сингапур, Панама, Джакарта, Гонконг, трудные переговоры в интересах «Пчелиного улья», его благословенной фирмы, налаживал производственные связи филиалов, выискивал подрядчиков, руководил монтажом оборудования, вербовал нужных людей, с успехом завершил все эти важные мероприятия и сияющий вернулся домой. Надо и с Эрвином поговорить, пока он случайно не встретится с Гребницером и тот не поздравит его «с пополнением», которое состоится через четыре месяца и которого Эрвин ожидает только через шесть, – здорового малыша, от здоровой матери и здорового отца. «А приступы дурноты у вашей супруги пусть вас не беспокоят, это нормально, это в порядке вещей». Эрвин успел уже великодушно заявить: «Даже если снова будет девочка – все равно устроим праздник!» Разумеется, он пригласит прессу, в первую очередь позаботится о журналах: «Пополнение в «Пчелином улье», пополнение в избушке Фишеров», – «избушкой» они называют их роскошную виллу. «Новая радость у нашей многообещающей наездницы Сабиньи Фишер из рода Тольм, одной из самых охраняемых женщин страны!» Теперь все это пойдет насмарку, ни шампанского, ни фейерверка в саду; где-то в укромном месте – только где? где? – она разрешится от бремени сыном или дочерью полицейского. Где? Наверняка не здесь, в Блорре, наверно, и не в Тольмсховене, тогда, может, у Рольфа, если там найдется для нее комнатка? С Катариной вполне можно об этом поговорить, да и с Рольфом, пожалуй, тоже, но сперва надо все сказать Хуберту, нельзя посвящать в это других, не сказав ему, нельзя ничего решать без него, без Хельги и Бернхарда, обязательно надо поговорить с Хубертом, пока эти не пронюхали и не начали распускать слухи, – тут ведь еще одно, и для Хуберта это так же серьезно, как и для Хольцпукке: «злоупотребление служебным долгом».

Если бы Хуберт был не так серьезен: но он ей нравится какой есть, нравится до смерти, она просто сохнет по нему и не убоится бы никакого скандала, хоть сейчас подошла бы к нему и при всех повисла у него на шее, если бы не Хельга и Бернхард; нет, только не это, она не хочет причинять боль женщине, которую совсем не знает, которая ничего ей не сделала и наверняка не сделает, – вот бы просто поехать к ней, поговорить, но через голову Хуберта она не может, не имеет права.

Хорошо, что сейчас приедет мама, ее дорогая Кэте, приедет и заберет ее к себе, в Тольмсховен; там он будет с ней рядом, и уж там-то она улучит возможность с ним поговорить.

Еще задолго до того, как Эрвин уехал «доводить до ума» свои «производственные циклы», или как они там еще называются, все, что было между ними, не доставляло ей особой радости. Всякий раз он с пугливой предусмотрительностью, а то и раздраженно спрашивал: «А ты приняла?» – хоть и знал, что она боится этих пилуль, да и вера не позволяет, но она глотала, и только после ее утвердительного кивка он подступал к ней с ласками; а у нее все чаще пропадало настроение, возникало не то чтобы отвращение или ненависть, но что-то другое, отчего настроение никак не возвращалось, – наверно, жалость к этому мужчине, который, казалось, излучает спортивность, слывет превосходным наездником, танцором, теннисистом, даже яхтсменом, а недавно увлекся еще и полетами на воздушных шарах и водными лыжами и который никак не может... (даже в мыслях ей не удастся произнести некоторые вульгарные словечки, которыми кишат иные страницы иллюстрированных журналов и описания неживых, сплошь подстроенных порносцен в бульварных книжонках, словечки, которые ей приходилось слышать и на «непринужденных» светских приемах, и от своей бывшей соседки Эрны Бройер), жалость к этому мужчине, которому так трудно добраться до своего счастья, иной раз у него совсем ничего не выходит, и он тогда во всем винит ее. С тех пор она не очень-то верит полушутливым признаниям, которые он нашептывал ей, вернувшись из очередного вояжа, из Лондона или Бангкока: «Небось сама догады-

ваешься, на что способен одинокий мужчина, которого занесло в такую даль от его сладкой женушки...» Не очень-то ей верится, но слушать все равно противно, не важно, правда или нет, а от «сладкой женушки» ее просто тошнит, и она порой спрашивала себя, а знает ли он, на что может быть способна одинокая женщина, хотя вовсе не думала о чем-то таком, что ее соседка, Эрна Бройер, без обиняков припечатывает матерным словом. С недавних пор слово это перестало считаться запретным и на светских раутах, где иные дамы из самых, так сказать, респектабельных кругов обожали поразглагольствовать о своих «титках», а любовников называли не иначе как своими «кадрами». С этими «кадрами» они охотно ездили поразвлекаться в азиатские страны, в «теплые края», где процветают совсем иные, нежели в Европе, любовные нравы. Нет, она не станет клясть свое воспитание, ругать строгих монахинь, но что-то в ней треснуло и надломилось в тот день, когда она попыталась облегчить душу у Кольшрёдера. Он до того настойчиво интересовался подробностями, что у нее возникло мрачное подозрение, это было ужасно, мерзко, он хотел знать буквально обо всем, даже о том, что у нее было с Хубертом и как было! Но тут она просто вскочила и убежала, никогда, никогда больше никакой исповеди! Никогда, лучше уж поболтать с Эрной Бройер или у Фишеров, у родителей Эрвина, там частенько бывают в гостях такие веселые, элегантные, фривольные святые отцы, они бы только рассмеялись, признайся она на исповеди: «Я совершила прелюбодеяние». То были совсем другие святые отцы, в любую минуту готовые на своеобразный стриптиз церковника, они кичились безнаказанностью своих «устойчивых» любовных связей, иногда даже являлись в сопровождении партнерш. Куда ни глянь, всюду распад и тлен, а еще страх – не за собственную жизнь и не страх скандала, страх за Хельгу и Хуберта, для которого все это так же серьезно, как для нее, и не может быть по-другому, дай бог, чтобы ему больше повезло с исповедником...

А еще страх потерять добрых соседей, страх перед растущей неприязнью жителей Блорра, который из-за нее превратился в «притон легавых». После истории с именинным тортом Плифгера контроль еще больше ужесточили. Тут-то и раскрылся роман соседки Эрны Бройер с шофером ее мужа; такая милая, такая добрая, привлекательная женщина, не очень уже молодая, ближе к сорока, с ней так славно было поболтать у забора о цветах, о хозяйстве, обменяться кулинарными рецептами, получить в подарок пучок салата или головку цветной капусты, пригласить на чашечку кофе, а раньше, до того, как контроль ужесточили, она иногда за Кит приглядывала, простая, совершенно нормальная женщина, которая так переживала, что у нее нет детей, несколько театрально сетовала на свое «бесплодное лоно», уточняя при этом, что «муж тут ни при чем, у него дети от первого брака, это все я»; она очень милая, эта Эрна Бройер, родом из Хубрайхена, дочь того самого крестьянина Гермеса, у которого Рольф берет молоко, темноволосая, чуть располневшая красotka, она еще жаловалась, что «мой никогда не ходит со мной на танцы», они ее несколько раз приглашали, когда устраивали вечеринки с танцами в саду, на площадке у бассейна, с лампionaми, шампанским, пуншем и прочими забавами, и Эрвин очень даже лихо с этой Эрной отплясывал, разгоряченная, чуть запыхавшаяся Эрна Бройер была наверху блаженства, и ее муж, он постарше, пожалуй за пятьдесят, тоже был наверху блаженства, просто сиял от удовольствия, что его Эрна наконец-то «как следует поразмялась». Очень милый получился вечер, они и других соседей позвали, Клобера, владельца автотранспортной фирмы, с женой и семнадцатилетней дочкой, яркой поборницей пляжной моды «сверху без», что она доказывала не только в теории, но и на практике; Хельмсфельда, редактора из «Листка», который глубокомысленно, судя по реакции остальных гостей, пожалуй, слишком глубокомысленно, рассуждал о терроризме. Даже Блюмы пришли, и Беерецы прислали своего старшего сына, который много с ней танцевал. Эрна Бройер была совершенно счастлива в тот вечер, а ее муж с великодушной улыбкой старался не замечать поцелуев, которые она под шумок дарила Хельмсфельду, – позже, когда другие гости ушли, тот, оставшись на кофе, всюю, хотя, на

ее взгляд, совершенно напрасно напуская на себя иронию, восторгался «вульгарным эротическим шармом этой Бройер».

Но потом Цурмаку и Люлеру показалось подозрительным, что перед домом Бройеров слишком уж часто и в основном по утрам, между десятью и двенадцатью, останавливается серый «мерседес», оттуда вылезает молодой, по-юношески долговязый мужчина лет под тридцать, одетый не совсем так, как можно было бы ожидать от обычного посетителя дома Бройеров, слишком уж непритязательно, даже не в джинсах, а в дешевых вельветовых штанах, и длинноволосый сверх той меры, которая тогда в модных журналах и даже в полиции считалась «нормальной» и допустимой; не то чтобы он был совсем нечесаный, этот парень, нет – просто степень его патлатости превышала общепринятую, к тому же, как выразился Цурмак, во всем его облике, в манере ходить враскачку, в движениях рук и плеч была какая-то «подозрительная разболтанность», какую ему, Цурмаку, прежде доводилось видеть только в фильмах о молодежных демонстрациях и беспорядках, им такие фильмы специально показывают, чтобы они учились распознавать «этих типов». Так вот, он не выглядел шалопаем из дискотеки, это трудно описать точнее, но была в его движениях не только юношеская вихлявость, но и какая-то угловатость, – словом, Цурмак усмотрел в его облике «что-то политическое». Визиты наносились не реже двух раз в неделю, и хотя по номеру серого «мерседеса» легко удалось установить, что это одна из машин Бройера, а молодой человек за рулем – его шофер, который часто ездит по всевозможным поручениям хозяина в банк, к клиентам, в учреждения и фирмы (Бройер был владельцем часового и ювелирного магазинов, как позже выяснилось, на грани банкротства, слишком уж широко он размахнулся, а часы и побрякушки себя не окупали, в этом деле в ту пору как раз наступил кризис), – разумеется, о парне деликатно, с предельной деликатностью навели справки: его звали Петер Шублер, бывший студент, изучал социологию, не доучился, участвовал в демонстрациях и даже швырял в полицейских помидорами, что документально зафиксировано на фото пленке. А поскольку дом Бройеров стоит, можно сказать, вплотную к «избушке» Фишеров – женщины иной раз по утрам махали друг другу из своих кухонь, а с террасы Бройеров можно было беспрепятственно и бесцеремонно разглядывать плавательный бассейн в саду Фишеров, – следовательно... Одного этого было достаточно, чтобы задуматься, не выполняет ли этот Шублер роль разведчика, – короче, когда в следующий раз серый «мерседес» остановился у калитки Бройеров, Цурмак выждал минут пять и направился вслед за посетителем, позвонил, подождал для порядка, снова позвонил и еще подождал; ну, а потом началась самая настоящая свара, потому что на третий звонок дверь наконец отворили, на пороге возник Шублер, мягко выражаясь, не вполне «корректно» одетый, за ним вышла Эрна Бройер в халатике и закатаила сцену, – в общем, это была как раз одна из тех ситуаций, которые в старину называли «двусмысленными» или «щекотливыми». Этот человек, без стеснения заявила Эрна Бройер, ее любовник, и законом это пока что не запрещено. Она категорически требует, чтобы ее муж ничего не узнал. Но любовник – это ведь тоже может оказаться только прикрытием. Эти типы на все способны, а «поработать» в интересах дела любовником у такой красотики – подобным «заданием» вряд ли кто побрезгует.

Все, конечно, открылось, и тут Бройер уже не стал умиляться, на его взгляд это было слишком, он разошелся с Эрной; все кончилось зауряднейшим омерзительным скандалом со всеми вытекающими отсюда последствиями и лютой ненавистью к «этим Фишерам», ибо, «живи мы в другом месте, а не в этой дыре, где кишмя кишат легавые, никто бы ничего не узнал». Остальные соседи тоже стали нервничать из-за всей этой «вечной полицейской возни». Да и кому понравится, когда кругом на каждом шагу торчат полицейские с рациями и камерами. Блорр, эта крохотная деревенька, где всего-то и есть что двенадцать домов, четыре коттеджа, заброшенная часовня и ветхий дом священника, и так весь как на ладони, тут все друг друга знают и ни от кого не укроешься, а у кого, «у кого, – вопрошал Хельмсфельд, – нет

своих маленьких тайн или, на худой конец, просто знакомых, чьи движения и манера держаться могут показаться предосудительными в политическом смысле? У него, к примеру, есть подруга, Эрика Пёлер, ей около тридцати, так ее уже несколько раз подвергали не то чтобы допросу, но весьма обстоятельным собеседованиям, и все из-за того, что она слишком часто приезжает в Блорр и к тому же на машине дешевой марки, которая почему-то считается «студенческой», – а эта Эрика, хоть она левых убеждений и социолог, ни теоретически, ни, упаси боже, практически не склонна к насилию, в каких бы формах оно ни проявлялось.

И Клобер, владелец автотранспортной фирмы, после скандала с Эрной Бройер тоже занервничал. Ведь и к нему нередко приезжают гости в солидных машинах, и тоже все больше по утрам, между десятью и двенадцатью, деловые партнеры, клиенты, и, как позже объяснил ей Хуберт, «он, вероятно, замешан во всяких темных делишках, может, контрабанда или уклонение от налогов, если не что похлеще, так что доскональная проверка его посетителей и их занятий ему вовсе не по душе, вот он и занервничал».

В конце концов, от них до Клоберов всего четыре гаражные крыши, из окна их ванной комнаты можно беспрепятственно наблюдать, как теперь уже восемнадцатилетняя Фридель Клобер, сидя на веранде, на практике доказывает свое пристрастие к моде «сверху без». Однажды она застала за этим занятием Эрвина – из ванной он изучал девушку в бинокль и даже не подумал оторваться от окуляров, когда она вошла, только сосредоточенно пробормотал: «Черт, ишь, выставляется, но она может себе это позволить».

Нет, прежнего дружелюбия в отношениях с соседями уже не было, Хельмсфельд ныл, у Бройеров в семье полный развал, а Клоберы неприкрыто выказывали ледяную холодность. Да и крестьяне – разве не стали они здороваться как-то прохладно, даже отчужденно? Разве не ощущала она эту прохладцу, чтобы не сказать неприязнь, идя вместе с Кит за молоком, и не потому ли в последнее время все чаще отправляет в эти походы Блюм? Одни Блёмеры, казалось, ничего не замечают или вида не подают, они заканчивают ремонт и грозятся по этому случаю затеять пир на весь мир. Прежнего покоя, прежней идиллии в Блорре как не бывало, но, быть может, когда она уедет, все образуется, а она будет изредка наведываться в гости – к Хельмсфельду на чай, к Блюмам и Беерецам на кофе – и снова увидит Блорр, каким он был когда-то, и давно пора выбросить из головы мысли о самоубийстве, ведь у нее есть Кит и будет еще ребенок, у нее есть Хуберт, вот только бы укрыться – но где? где? – от вездесущего надзора. Уехать куда-нибудь, где тебя никто не знает и не опознает, наверно, за границу, на море, вместе с Кит и новорожденным, у нее будут алименты от Эрвина, отец тоже будет помогать, да и сама она сумеет подзаработать переводами или вязаньем, а может, и тем и другим. Вон как все хвалят ее французский, а вязать – уж что-что, а это она умеет, лучшей учительницы, чем мама, чем Кэте, не сыскать. Да, она уедет, будет вязать, будет переводить – переводы отец обеспечит, – только прочь, прочь из Блорра, прочь из Германии.

В проеме между домом и гаражом возник Ронер и тихо, очень вежливо попросил ее уйти с террасы, зайти в дом и закрыть за собой дверь. Она кивнула, зашла, закрыла: значит, смеркается. При мысли, что уже сегодня, очень скоро придется покинуть Блорр, ей вдруг стало больно, слезы сами покатались по щекам, она задернула шторы. Она полюбила эту деревушку и этот дом, хоть на ее вкус он, пожалуй, чересчур модный, слишком все открыто и многовато стекла, полюбила здешние деревья, старые дубы, буки и каштаны, прогулки с дочкой, походы за молоком, запах домашнего хлеба, крестьянские дворы – все то, что отчасти заменило ей родной Айкельхоф. Полюбила утренние прогулки верхом: возьмешь у Хермансов лошадь, оседлаешь и – айда по полям и лесам.

Эрвин, конечно, настоял на том, чтобы известить о ее беременности прессу, ведь ей пришлось на время отказаться от верховой езды и до начала первенства она точно не сможет возобновить тренировки. Да и как ездить – ей ведь нужна охрана, кто-то должен ехать рядом, значит, надо искать полицейского, который умеет держаться в седле. Нет, от таких прогулок все равно никакой радости. Раньше она еще могла позволить себе кое-какие развлечения – взять и отправиться вечером на концерт, особенно когда у них выступал этот молодой русский, который так прекрасно играл Бетховена, или на выставку, помнится, ей нравились репродукции одного молодого художника, а он тогда как раз выставлялся. Но с тех пор, как все надо заранее «согласовывать» и, стало быть, спрашивать для себя конвой, у нее пропала всякая охота развлекаться.

Что скажут крестьяне, если обнаружится, что она ждет ребенка вовсе не от Эрвина, а от полицейского, от самого молодого и строгого полицейского из предыдущей команды, как раз от того, которого все они слегка недолюбливали. Всегда серьезный, сосредоточенный, крестьянин Херманс так про него и сказал: «Больно уж въедливый», а все из-за того, что Хуберт отчитал его сына за какие-то ржавые железяки, хотя, казалось бы, какое дело службе безопасности до ребячьих проказ. Мальчишка рыскал по всей округе, излазил весь лес, кусты и овраги в поисках оружия и боеприпасов, оставшихся со времен войны, и, конечно, Хуберт прав, это совсем не игрушки, сколько людей в здешних лесах – и взрослые крестьяне, и детишки – подорвались на старых гранатах, кого ранило, а кого в клочья разнесло, она пылко – может, чересчур пылко? – заступалась за Хуберта, доказывая его правоту. Да, Хуберт очень серьезен, как и она, он просто не умеет быть легкомысленным в таких вещах. И Блорр ей уже не в радость: гулять – под конвоем, за молоком – под конвоем, в часовню, куда она так любила приносить цветы к образу Богоматери, – под конвоем, помолиться Деве Марии – под конвоем, поболтать с крестьянами о Боге и о жизни, о скотине, детях, погоде, о церкви и государстве – все под конвоем. Разрушенное соседство. А горькая участь Эрны Бройер – ведь это прямое следствие мер безопасности; теперь она ютится с этим Шублером в его малогабаритной квартирке, ищет работу, пока безрезультатно, Шублер тоже ищет работу – и тоже безрезультатно. Бройер подал на развод, дела его совсем плохи, он окончательно обанкротился, дом стоит нежилой, объявлен к продаже и охраняется теперь именно потому, что пустует, с удвоенной строгостью, приезжающих покупателей подвергают проверке, разгневанный маклер уже пригрозил вчинить судебный иск на возмещение ущерба, поскольку, по его словам, стоимость дома, разумеется, упала с той поры, как Блорр превратили в «полицейский участок», поговаривали даже о создании некоей инициативной группы «потерпевших от безопасности», к коей группе уже присоединились Клоберы, – по слухам, организация была отнюдь не местного масштаба, с отделениями в разных уголках страны, ибо потерпевших очень много.

А она тосковала по Хуберту, она ждала маму, чтобы та забрала ее отсюда в Тольмховен, туда, где Хуберт несет сейчас свою службу. Уж она улучит момент, найдет подходящую возможность, в крайнем случае уговорит Кэте устроить прием для всех работников безопасности и их семей – внизу, в большом зале, где обычно проходят заседания. А что, отличная мысль: собрать всех этих людей в знак благодарности, можно заказать оркестр, для детей пригласить кукольный театр, тогда она сможет наконец поговорить с Хубертом, познакомиться с Хельгой и Бернхардом, а уж потом пойдет искать совета у кого-нибудь, кому доверяет больше, чем этому мерзкому, жутковатому Кольшрёдеру. С братом, Рольфом, поговорить, наверно, не мешает, хотя проку от этого мало; Эрвин так ему и не простил, что он назвал своего мальчика Хольгером, «первого Хольгера, того, который от Вероники, – это я еще могу понять, это семь лет назад было, но чтобы и второго, от Катарины, и это *после* ноября семьдесят четвертого – нет уж, увольте, эта ветвь вашего семейства для меня больше не существует! И вообще – поджигать автомобили, бросаться камнями – что это такое, в

конце концов?!» Рольф подойдет к делу с «практической стороны», он все еще, несмотря ни на что, очень деловой, даже слишком, умом, чисто абстрактно, он, наверно, поймет, что «прелюбодеяние» должно ее мучить, но начнет рассуждать, почему по отношению к Фишеру это вовсе никакое не «прелюбодеяние», зато, мол, по отношению к Хельге – да, тут действительно есть над чем подумать. Умом он, конечно, кое-что еще поймет, но душой – нет. Герберт, второй брат, тот, конечно, сумеет ее немножко развеселить, но и от него проку не будет, он начнет смеяться, даже не заметит ее печали, будет только радоваться, «потому что в тебе зреет новая жизнь, ты понимаешь, сестренка, какая это радость – новая жизнь!» – и скорее всего посоветует ей попросту уйти от Фишера, чтобы на новом месте – да где же, где? – начать, как говорится, с нуля. Видимо, лучше всего поговорить с Катариной. Все-таки они почти ровесницы, да и ладили друг с другом, никогда не ссорились, вот только ее смущают и настораживают политические рассуждения Катарины, когда та начинает «проводить системный анализ», – звучит порой очень даже соблазнительно, но в таких делах никакой системный анализ не поможет (а вдруг?). Что же делать, если она, несмотря ни на что, была и останется католичкой и в церковь будет ходить – даже целое стадо похотливых колышрёдеров ее не остановит. И Хуберт такой же, для них это серьезно, очень серьезно, совсем не забава, не банальный «романтик на стороне», Катарина поймет, ведь она всегда ненавидела порно и «буржуазный промискуитет». Катарина, наверно, приведет к ней психиатра, а тот первым делом велит ей даже слово такое забыть – «прелюбодеяние». Вообще-то не исключено, что Эрвин согласится признать ребенка своим, лишь бы избежать позора и скандала – позор для него страшнее любого скандала, – милостиво предложит дать ребенку свою фамилию, а уж потом, со временем, расстаться или даже развестись. Она на это не пойдет. С Фишером она ни дня больше жить не будет. Она тоскует по Хуберту, по его рукам, губам, голосу, по бесконечной серьезности в его глазах.

С отцом поговорить? Нет, ему она не сможет исповедаться. Он, правда, совсем не ханжа, все-таки у него был роман с этой Эдит, да и об истории с молодой графиней в деревне до сих пор вспоминают, хоть уже почти пятьдесят лет прошло. Отец, конечно, отнесется «с пониманием», но он очень застенчив, и она тоже. А Эрвина он никогда не любил и только обрадуется, что «наконец-то мы избавились от этого типа», он будет к ней добр, ее милый папа, предложит переехать с Кит и будущим новорожденным к ним в замок и о Хуберте позаботится, он будет очень ласков – и не сможет ей помочь, когда Эрвин «без всяких церемоний» начнет борьбу за Кит, что-то, а уж бороться без всяких церемоний Эрвин умеет. Его особенно уязвит то, что никогда не уязвило бы отца: что это человек «не их круга», «какой-то полицейский». Разумеется, он скоро женится снова, для престижа, для «Пчелиного улья» ему совершенно необходима «спутница жизни» – красавица, к тому же спортивная, вдобавок домовитая (что там еще значилось в каталоге ее собственных рекламных добродетелей?), и, конечно, любая из этих грудастых потаскушек с удовольствием за него выскочит. Не надо обладать большой фантазией – а фантазия у нее есть, на этот счет и монахини и Рольф были одного мнения, – чтобы вообразить, какая буря поднимется в газетах, в том числе, вероятно, даже и в «Листке». Тут уж ничего не поделаешь, нужно будет, как Рольф, «просто отсидеться». «Это как взрыв в старом клозете: дерьмо летит во все стороны, кое-что, конечно, перепадает и тебе, но ведь, в конце концов, есть теплая вода, можно отмыться».

Ничего, она сумеет отсидеться, и все пройдет. А вот жить с Фишером – нет, она больше не может, ни дня. Встречать его, когда он – счастливый глава семьи в ожидании потомства – возвращается домой, есть с ним за одним столом; моясь, оставлять открытой дверь в ванную, на чем он настаивал, объявляя это своим супружеским правом, «потому что тебе тоже есть что показать сверху без». Она с трудом заставляла себя есть, втихомолку плакала в те часы, когда Кит спала после обеда, плакала иногда и среди бела дня, не таясь от доброй Блюм, которая только сокрушенно приговаривала: «Да поговорите вы с кем-нибудь, ведь вас гложет

что-то, и это вовсе не из-за ребенка, которого вы ждете, и не из-за охраны, хотя от нее любой с ума сойдет».

Может, с Блюм поговорить? С добросердечной незамужней Блюм, сестрой здешнего крестьянина, которая в свои без малого шестьдесят бодро помогает ей по дому и на кухне, при уборке неизменно пользуется только мылом и содой, с презрением отвергая все эти «дурацкие новомодные порошки», а нашатырь и уксус считает самым верным дезинфицирующим средством; с толстухой Блюм, которая теперь иногда остается у них ночевать, укладывает волосы незатейливым узлом и расхаживает в юбках по последней моде тридцатых годов. Есть что-то пугающее и почти непристойное в ее манере курить за работой – сигарета торчком, глубокие, жадные затяжки. «Курить, дорогая госпожа Фишер, мы в войну научились, когда нас тут, в Блорре, бомбили и артиллерия пуляла вовсю. И мне понравилось, и до сих пор нравится. А уж тогда сколько литров молока я у братца стибрила, сколько картошки утащила в обмен на табачок, и все никак не брошу». Эта женщина, которая потеряла в войну «своего суженого» и которую «ни к кому другому не тянуло, вот я ни с кем и не решилась, не могла просто, я ведь уже ребенка ждала от моего Конрада, и нашлись охотники жениться даже на беременной, все равно, а тут как раз похоронка; Днепрпетровск – я это слово вовек не забуду, я его на тот свет с собой возьму и спрошу там у кого следует, что нам в этом Днепрпетровске понадобилось, на что этот Днепрпетровск моему Конраду сдался, – вот у меня и случился выкидыш, а я так хотела ребеночка, пусть даже без мужа». Неужели она, эта женщина, о чем-то догадывается, а может, просто что-то знает, когда твердит ей, что все это «вовсе не из-за ребенка, которого вы ждете», хотя ведь на самом-то деле все именно из-за ребенка. Может, они были недостаточно осторожны, когда Блюм в сопровождении Цурмака или Люлера отправлялась вместе с Кит за молоком или просто прогуляться по деревне, ничуть не смущаясь автомата, с которым Цурмак вышагивал за ними следом; может, она что-то заметила – взгляд, жест, мимолетное прикосновение на ходу, что-то углядела летом, когда она нежилась у бассейна, или когда Хуберт украдкой – ах, всегда эта спешка, эта невыносимая и неизбежная спешка! – целовал ее в прихожей, либо в те мгновенья, когда он обнимал ее в углу, за дверью и она вверялась ему всецело? Блюм-то, уж конечно, давно знает, что между ней и Эрвином только нелады и скрытые раздоры. Неужели она поняла, что за всем этим кроются не только «другие женщины», но и другой мужчина? Да, с Блюм вполне можно было бы поговорить, но посоветовать или помочь она, видимо, не сумеет, как и отец; эта Блюм отважно перенесла позор своей безмужней беременности, и все же то был не такой позор, ведь каждый знал, что в следующий отпуск ее Конрад собирался на ней жениться, она уже приберегала яйца и карточки на масло для свадебного пирога, и с мясником уже было договорено, чтобы к свадьбе нелегально забить свинью, она и на небе предстанет перед очами Всевышнего со своей суровой жалобой: «Днепрпетровск – что нам там понадобилось?»

Прочь, прочь отсюда, скорей бы приехала Кэте, она заберет Кит и уедет, сегодня же, пока он не вернулся домой, не надо будет больше запираť дверь в гостиную, где она вот уже несколько дней ночует, выслушивать его попреки и жалобы, когда он, настаивая на «своем праве», пытается к ней вломиться, – наверно, он не стал бы так рьяно домогаться своих прав, узнай он, что она не на третьем месяце, а уже на шестом.

В Тольмсховене Хуберт будет рядом, они, наверно, смогут поговорить или даже поцеловаться, а то и, несмотря на беременность, найти какой-нибудь счастливый угол за дверью, им ведь не привыкать. Только однажды он побыл с ней несколько часов ночью, он стоял на посту на террасе, она его впустила – в тот день Кит была у родителей, заснула, и ее оставили ночевать; а она не могла заснуть, сперва стояла у окна, смотрела сквозь проем в занавесках на долину, где далеко на горизонте мерцали подсвеченные, словно на арене цирка, корпуса электростанций, но вовсе не потому, что они несут людям свет, как растолковал ей однажды

старый Кортшеде, а из соображений безопасности, чтобы в случае аварии легче было обнаружить утечку, и для создания декоративного эффекта «индустриального пейзажа», но это именно подсветка, а не освещение, освещать там ничего нельзя, иначе сразу будет видно, «сколько всякой дряни они втихую спускают ночью». За деревьями, внизу, в долине, они отлично видны, эти мерцающие фасады, а сердце билось и билось, как – как что? Сердце билось давно, ведь она прекрасно знала, что в десять он должен сменить Цурмака, а было уже половина одиннадцатого, и последняя полоска летнего заката меркла на горизонте, чуть в стороне от нелепо ярких фасадов. Но он еще не закончил обход, и она даже не казалась себе потаскушкой, когда отперла дверь на террасу, дрожа от страха, получится у них или нет, ведь до этого все бывало только в углу за дверью, – и вот он появился, целеустремленный, решительный, в этой его решимости было что-то мальчишеское, она даже невольно улыбнулась – он шел напрямик, мимо маленького заросшего кувшинками пруда, по склону, сломал по пути, как потом выяснилось, несколько роз, вот его рука ухватилась за ручку, и вот он уже в комнате, запутался в занавеске, высвободился, «вас я не видел, – признался он позже, – меня ослепило, но я вас чуял, да, чуял, то есть, наверно, надо сказать, чувствовал, чувствовал, что вы где-то тут, что вы меня ждете»; но тогда они ни слова друг другу не сказали, безмолвно и как-то по-хозяйски, отчего ей стало немножко не по себе, он включил свет, задернул занавески, чтобы рассмотреть ее голую, ведь прежде, в углу за дверью, он не мог видеть ее наготу, и только потом погасил свет и лег к ней, пистолет на ночном столике, рация на полу. Лишь позже, когда он снова занял свой «пост», а она сварила кофе, они смогли поговорить, он на террасе, она в комнате у открытого окна, между ними на подоконнике кофейник, две чашки и рация, они говорили долго, до рассвета, но так и не перешли на «ты». Он не признавался ей в любви, сказал только, что желал ее с первого взгляда, с первого дня, как стал ее охранять, а еще рассказывал о себе, как ему было тоскливо в школе, потому что всегда хотелось работать, в смысле – делать что-то руками, и он работал – сперва на стройке, потом на конвейере, «только, знаете, всей этой романтики ненадолго хватило», и тогда он пошел в полицию, да, потому что «любит порядок», чем и навлек на себя презрение отца, тот, видите ли, считает себя юристом и теперь жалуется, что сын, мол, роняет престиж семьи; обстоятельно, даже как-то излишне обстоятельно, стал объяснять ей про свою фамилию – Тёргаш, и почему она пишется через «ё», а не через «о», этому «ё» он придавал какое-то особое значение, хотя, на ее взгляд, никакой разницы, что в лоб, что по лбу; но он построил целое этимологическое толкование, – дескать, кто-то из его дальних предков служил в Баварии у некоего Тёргаша, то ли графа, то ли епископа, управляющим, а вовсе не был торговцем, вот фамилия и передалась, потому и важно написание через «ё»; не то чтобы все это показалось ей занудством – слишком было хорошо беседовать с ним через подоконник, пить кофе и смотреть на занимающуюся зарю, – но серьезность, с которой он посвящал ее в свои этимологические разыскания, несколько ее встревожила. А она рассказала ему о своем детстве, о своей юности, об Айкельхофе. Айкельхоф перешел им по наследству вместе с «Листком» – это была старомодная вилла восьмидесятых годов девятнадцатого столетия, какую в те времена мог себе позволить пусть не богач, но все же достаточно состоятельный владелец типографии и провинциальной газеты. И вот эта вилла, вместе с типографией и газетой, досталась отцу, который ведь был из бедняков, а тут вдруг такой шикарный дом, огромные комнаты, особенно внизу, столовая и гостиная, в кухне хоть танцуй, и даже гардеробная, там самая маленькая комната все равно была больше, чем любая в их нынешнем замке, пока внизу не оборудовали конференц-зал. Теннисный корт. Все было немножко запущено, но уютно, эту уютную запущенность Кэте очень берегла, особенно сад, из-за которого они то и дело шуточно препирались: можно называть его парком или нет. Старые фруктовые деревья, лужайки, и ни одного идиотского газона, которые она так ненавидит. Летние праздники, бумажные фонарики на ветвях, танцверанда, которую отец специально для нее велел сколо-

тить прямо в саду, и слезы первой, болезненной и пронзительной влюбленности в мальчика, которого звали Генрих Беверло – «да-да, *тот самый* Беверло, по вине которого вы тут стоите, благодаря которому мы сейчас рядом стоим, а совсем недавно рядом лежали, а до этого много раз в углу за дверью... да-да, именно по вине и благодаря», – она помнит его испуг при слове «благодаря», и она рассказала об этом не по годам пытливым и умным мальчишке с мечтательными глазами и совсем не спортивной фигурой, который стеснялся танцевать, из-за чего все над ним подтрунивали, ну, танцевать-то она его научила, летними вечерами они потом без конца танцевали на веранде, в саду, а если был дождь, уходили танцевать в дом.

Вот о чем она рассказала той летней ночью, но ни слова не проронила о Фишере, ни слова о Хельге, ни слова о Кит и Бернхарде, не сказала о том, что, вероятно, уже беременна, а сутки спустя они совсем потеряли голову, у него опять было ночное дежурство, но на сей раз Кит спала с ней, а Фишер, только что вернувшийся из своего вояжа, дрях в соседней комнате. Она почувствовала горечь, но и облегчение, когда на следующий день его перевели в Тольмсховен. А еще она рассказала ему об Элизабет, третьей жене Блямпа; только они подружились, как та исчезла, уехала обратно в Югославию. «С его женами всегда так: если и попадется милая, обязательно вскоре исчезнет. У нее там на юге отель, она все время меня приглашает, но как туда поедешь с такой свитой охранников?» Она рассказала и об их вилле под Малагой, где она обычно изнывает от скуки, – рассказала многое, почти все, никому прежде она столько о себе не рассказывала. Разумеется, она не сразу, не с первого взгляда вверила себя Хуберту, но этот молодой полицейский сразу показался ей симпатичным, симпатичнее остальных, да и по возрасту они, наверно, ровесники, не исключено, что он даже на год-два моложе. Она не знает, сколько лет Бернхарду, детей теперь очень рано ведут к первому причастию, но вдруг Хуберту все-таки тридцать, тогда он на два года старше, – и вот с ним, именно с ним у нее случилось то, во что она никогда бы не поверила, считала для себя абсолютно невозможным и готова была поклясться в этом любой клятвой: что она будет принадлежать не своему, чужому мужу, тому, кто никогда, ни под каким видом не спросит: «А вы не забыли про пиллюлю?» И это при том, что возможностей было сколько угодно, и заигрываний, и почти недвусмысленных предложений – в конном клубе, на теннисе, на вечеринках; иные претенденты были просто очаровательны, Цуммерлинг-младший, например, очень даже мил, веселый, ироничный, этот все принимал не слишком всерьез, то и дело над ней подтрунивал: «Сабина, дорогая, ну почему мы всегда так серьезны?» Так нет же, Хуберт, именно он, и она даже не знает, как это получилось, постепенно или сразу, неотвратимо или случайно, по ее или по его воле, все вышло само собой, а уж неотвратимо или случайно, это пусть решают боги, – просто он был тут, рядом, стоял, ходил вокруг, и так неделями, почти два месяца, и днем и ночью, но в одном она совершенно уверена: с Цурмаком или Люлером это было совершенно исключено, немыслимо, хотя они оба тоже очень милые ребята и добросовестные, знают каждый кустик, каждое дерево, каждую кочку, изучили все углы и закоулки в доме, в саду и на соседних участках, а уж план дома помнят назубок, включая гардеробную и кладовку, гладильню и чулан, гараж и сарай с садовым инвентарем, въездные ворота и летнюю кухню на террасе, где Блюм в хорошую погоду чистит овощи и картошку, приглядывая за Кит, которая обожает участвовать во всех кулинарных процессах; они, разумеется, прекрасно помнят и расположение так называемой «мастерской» – Фишер однажды надумал столярничать, но вот уже год к инструментам не притрагивается и в «мастерскую» не заходит, – и сауны в подвале, и обеих ванн комнат, они знают каждый уголок в доме, в саду и по соседству, и всем им не по душе, что в доме такие огромные окна. Приуныла она после того, как ей посоветовали не отправлять больше Кит в детский сад, а походы за покупками утратили всякую радость из-за постоянного конвоя. Детский сад в Блюкховене действительно при всем желании невозможно было «взять под контроль» – народу полно, детей приводят и уводят, тут же подвозят еду, входов и выходов не счесть, одноэтажные кот-

теджи разбросаны по парку где попало, тут же рядом кустарник, клумбы, детские площадки, с одной стороны школа, с другой – бассейн, и никаких заборов, планировка ведь открытая, так и задумано, все время подъезжают и уезжают машины, не станешь же обыскивать их все подряд – а после истории с плифгеровским тортом приходится проверять и поставки на кухню, – кроме того, некоторые родители начали роптать, дескать, их-то детям ничего не угрожает (что в корне неверно: «похитить, – сказал Хуберт, – могут любого ребенка, и моего тоже»), а постоянная охрана, чтобы не сказать надзор, нервирует детей, чревата психической травмой да и бессмысленна, потому что «эти если уж вдарят, то все равно из-за угла», их не перехитришь.

Пришлось оставлять Кит дома, к Грёбелям, где дочка любила играть с Руди и Моникой, ей теперь тоже нельзя: Грёбели весьма прозрачно дали понять, что не потерпят одного, а тем более нескольких полицейских у себя в доме или на участке, это травмирует детей. Пришлось держать Кит дома, заниматься с ней самой, играть, рисовать, рассказывать сказки или отправлять ее на кухню «в подмогу» Блюм; летом еще куда ни шло, выручал бассейн, возле которого есть песочница, качели, деревянная горка, а с недавних пор – это была ее идея, навеянная детскими воспоминаниями об Айкельхофе, где Кэте соорудила для них нечто похожее, – и «свинская лужа», яма с песком, глиной и водой, где Кит буквально купалась в грязи, строила замки и крепости, ей разрешалось дрызгаться там сколько душе угодно, в жаркую погоду голышом, когда прохладней – в штанишках, а потом шагом марш в ванную или под душ. Но прошло еще некоторое время, и ей опять-таки не то чтобы запретили – ей настоятельно отсоветовали ходить в Блюкховен на рынок, а она, да и Кит так любили туда ходить! Повязав платок, усадив Кит в коляску, с корзиной в руке, она так любила потолкаться в этой давке, в гуще людей, почувствовать их прикосновения, даже их запахи, она нарочно шла туда, где больше народу, и ей было не страшно, пока ей весьма наглядно не живописали все опасности таких походов. Сколько там закутков и проулков, которые не просматриваются, проходов между ларьками и прилавками, сколько легковушек и грузовиков, владельцы которых ставят их где попало, лишь бы разгрузить матрасы и яйца, кур и зелень, все, что привезли; в этой неразберихе похитить ребенка – плевое дело, хватать – и нет его, она и оглянуться не успеет, а потом ищи-свищи среди этих ларьков, прилавков, автомобилей, рыскай по всем закоулкам и проходам, там даже предварительный, профилактический контроль организовать немыслимо, что уж говорить о нештатной ситуации. Пришлось отказаться и от рынка; теперь ей все доставляли на дом, а если уж очень нужно было пойти в город, Кит оставалась с Блюм. Но разумеется, все, что ей доставляли на дом, тщательно проверялось: каждая буханка хлеба, каждый пучок салата, и даже для более интимных вещей, которые ей присылали из аптеки, не делалось исключения; а она и в этих вещах ужасно старомодна и краснеет всякий раз, когда обследуется очередной пакет из аптеки. Тут волей-неволей возникнет и нервозность, и раздражение, и противоестественная интимность в отношениях, которые совсем не должны бы к этому располагать. И все трудней делать вид, будто так и надо, и постоянно терпеть в доме или где-то поблизости присутствие двоих, а то и троих, но уже всенепременно и обязательно одного постороннего мужчины. Постоянно помнить, как ты одета, когда выходишь в коридор или в холл, идешь в ванную, из ванной или в туалет; к тому же «при исполнении» эти люди категорически отказываются от еды, разве что выпьют чашечку кофе, когда же их время кончается, они мгновенно, до неприличия быстро, исчезают, будто им невтерпех поскорее унести ноги с этого клятого места, а ей так хочется иногда поговорить с кем-нибудь из них по-человечески, расспросить про жену и детей, про квартиру и работу, но все ограничивается мимолетными вежливыми улыбками и сигаретами, которыми она время от времени угощает их, а они ее. Ей так хочется узнать, как они живут, о чем думают, скучают ли на службе, устают ли и как вообще их нервы все это выдерживают?

Эрвин держится с ними нарочито вальяжно, с налетом панибратства, этакий бывалый офицер запаса; заводит разговоры о футболе, пиве и женщинах, которых, если его послушать, только и надо, что «заваливать», – он явно недооценивает душевную деликатность этих людей, не только Хуберта, но и Цурмака и Люлера, ради которых он по понедельникам старательно зазубривает результаты очередного футбольного тура, хотя интересуются этим вовсе не Цурмак и Люлер, а, к ее удивлению, Хуберт, но, конечно, совсем не в такой, нарочито простецкой, вульгарно-пролетарской форме, как это преподносит Фишер: на каком-то полупохабном, блатном жаргоне, когда не сразу разберешь, что имеется в виду – то ли игровые достоинства футболистов, то ли их мужские потенции. Эрвин ведь никого, кроме себя, не слышит, он все знает лучше других, – громогласно, на весь дом, словно у себя на фирме, он в разговорах с ней то и дело склоняет «этих легавых», ничуть не стесняясь их присутствия, а они этого не любят, слишком часто их так обзывают другие люди, при других обстоятельствах, им это прямо нож острый, и даже если он говорит про «легавых» в шутку и как бы в кавычках («Ну, что, как поживают наши славные легавые?»), им это слово все равно не нравится, даже в кавычках. Вот почему они так холодно отказываются, когда он предлагает им сигареты, а если он трогает кого-то из них за рукав или, еще того хуже, похлопывает по плечу, их прямо передергивает.

Да, очень трудно жить вот так, привыкая к постоянной близости посторонних и в то же время никакой близости не допуская; вот почему она вовсе не считала «грязным» – наоборот, естественным – то, на что намекал Эрвин: дескать, она, когда ложиться загорать у бассейна, возбуждает у полицейских «грязные фантазии». «Даже если ты рязляжешься в чем мать родила – это их не касается, они обязаны не реагировать». Хуберт признался, что хотел ее с первого дня, что она его возбуждает, он говорил не о любви – о вожделении, а ведь кроме него были и эти двое, ничем не занятые здоровые мужчины, они слонялись вокруг, ходили, стояли, глазели, а потом наступили месяцы, долгие месяцы, когда глава семьи вообще не появлялся дома, его не было ни днем, ни теплыми летними вечерами, ни ночью, когда она без сна лежала одна, – и так день за днем, только скука и беспросветная тоска, так что в конце концов даже добряк Цурмак, мужчина уже, можно сказать, в годах, остепенившийся, ему почти сорок, – и тот не выдержал и сказал ей однажды: «Да что вы все дома сидите? Сходили бы в гости, на вечеринку к кому-нибудь, а за девочкой мы присмотрим». Только после этого она решилась выбраться в город – ей давно хотелось присмотреть себе новые туфли в обувном салоне Цвирнера, примерить платья у Хольдкамп и Бреслицера, Кит она оставила с Цурмаком и Блюм, поехала с Люлером, который торчал в салоне Бреслицера у всех на виду, ни дать ни взять частный детектив, и когда она вошла в примерочную кабину, пока переодевалась, она вдруг просто кожей ощутила какой-то особый наэлектризованно-эротический дух этого заведения с его розовым плюшем, тяжелыми занавесями, взбитыми, воздушными кружевами, почти физически осязаемую интимность, которая все еще обволакивала ее, когда она вышла из кабины. Что-то с ней было, что-то передалось ей вместе с этим воздухом, – наверно, думала она, так бывает в дорогих борделях, – какое-то размягченное бесстыдство, приглашение, зазывность, оставшаяся без ответа, и на обратном пути она чуть было не тронула за плечо беднягу Люлера, про которого знала, что тот холостяк и вообще веселый малый, так ей было его жалко, к счастью, она вовремя спохватилась, сообразив, что ничем хорошим это не кончится. Впервые в жизни она поняла, что имела в виду ее грубовато-прямодушная соседка Эрна Бройер, когда как-то раз обронила: она, мол, по горло сыта всеми этими разговорами о любви и страстях, просто иногда хочется, чтобы ей «как следует вставили», и мужчинам очень часто хочется просто «вставить», не больше и не меньше; а бедняга Люлер, наверно, еще и слышал, сколько она заплатила за оба платья, почти две восемьсот, ему это, конечно, показалось совсем недешево.

Ну вот, а потом, уже весной, она досталась, она вверилась Хуберту, среди бела дня, пока Блюм возилась на кухне, а Кит с удвоенным восторгом дрызгалась в своей свинской луже, потому что ей наконец-то удалось осуществить свой коварный замысел: в то утро Кит, наверно, раз сто подзывала Хуберта, канючила и требовала, чтобы тот подошел поближе. Когда же он в конце концов поддался на уговоры и подошел, она с ног до головы забрызгала его грязью, а он от растерянности еще и поскользнулся, – словом, пришлось пригласить его в дом для основательной чистки; потом, много позже, уже поняв, что беременна, она много раз спрашивала себя, но и до сих пор не знает, зачем пошла вместе с ним, хотя он и без нее прекрасно знал, где ванная и где найти полотенца. Но она пошла с ним, отвела его в ванную, даже открыла ему дверь и достала с полочки полотенце и тряпки, – тут-то они и не совладали с собой. Похоже, она первая: провела рукой по его щеке. Это вышло непроизвольно, она ни о чем таком даже не думала, но ни секунды не сопротивлялась, когда он вдруг сжал ее в объятиях и начал стаскивать с нее бикини – он делал это уверенно, ловко, но она знала, чувствовала, что уверенность напускная. Он вошел в нее со вздохом, и она приняла его, она вверилась ему с радостью и, встречая его поцелуи, вдруг ощутила, что знает его наизусть – его запах, его шершавый подбородок, его зубы, и эти светлые, такие серьезные глаза, и волосы на затылке, – она не только все ему позволила, она соглашалась, она кивала, хотя он впился в ее губы, она все ему позволила прямо тут, в углу за дверью, и даже успела толкнуть ногой дверь; совсем рядом, на террасе, Блюм перебирала салат, в саду Кит возилась в своей свинской луже, и все это в солнечный майский полдень, за четверть часа до обеда; после она сама удивилась – страха почти не было, только радость и какая-то шальная уверенность; она быстро привела в порядок купальник, в холле посмотрела в зеркало, поправила волосы, а он остался в ванной – ему ведь надо было еще отмыть глину с куртки и брюк. Некоторое время спустя он вышел на крыльцо, повесил куртку сушиться на солнце, погрозил пальцем Кит и ушел за гараж, ей же в тот день больше ни слова не сказал, вообще избегал говорить с ней в чьем-либо присутствии, и потом тоже, только иногда шептал, стоя за ее шезлонгом или из-за кустов у бассейна: «Ах, госпожа Фишер!», ведь они по-прежнему были на «вы», хотя все чаще улучали мгновения для свиданий. Им-то сразу было ясно, что это не минутный обман чувств, не мимолетное «приключение», подстроенное прихотью обстоятельств, не банальный «эпизод», о котором легко можно забыть. Нет, все было куда серьезней, засело глубоко и затягивало все глубже, усугубляясь множеством мелочей, которые она прежде посчитала бы откровенным бесстыдством. Теперь же ее почти не удивляла отчаянная смелость их торопливых объятий в гардеробной, где она вверялась ему в темноте среди развешанных пальто, – они облюбовали это место, потому что он в случае чего мог сделать вид, будто идет из туалета, а она бы спряталась за грудой одежды, эти несколько секунд могли спасти положение. В саду, проходя мимо, он иногда как бы невзначай останавливался и заговаривал с ней, рассказывал о полицейской школе, а она вспоминала об Айкельхофе, который стерли с лица земли, – с ним ей даже об этом было легче говорить, чем с кем-либо еще. К братьям с подобными разговорами лучше вообще не подступаться, Эрвин тоже отмахивался: «Пустые сантименты, нашла что оплакивать, вчерашний день». Отец об этом и слышать не хочет, даже злится, что с ним редко бывает, наверно, его все еще совесть мучает, а Кэте молчит, для нее это самая горькая утрата, Айкельхоф и Иффенховен, где она родилась и выросла, ведь теперь там все разрыто, теперь там хозяйничают экскаваторы, словно огромные звери, они вгрызаются зубастыми ковшми в зеленые лесные чащи, все сминая на своем пути, безлично-свиные, такие большие и добродушные на вид и такие беспощадные в работе, они заглатывают землю и выплевывают ее далеко-далеко, они эксгумируют мертвецов – ну, конечно же, с предельной почтительностью, – они крушат церкви и часовни, деревни и замки, а Кэте говорит, что, когда едет через Ной-Иффенховен, где отстроенные заново дома и церкви стоят как игрушечные, ее пробирает дрожь.

Да, ее тоже пробирает дрожь. Дрожь, стоит подумать о Кит, розовощекой, золотоволо-
сой Кит, которая сейчас щебечет у Беерцев в коровнике; дрожь, стоит вспомнить о радост-
ной готовности, с какой она при малейшей возможности вверялась Хуберту в любом углу, в
ванной и в гардеробной; дрожь, стоит подумать о Хельге, хотя – вот ведь странно – по отно-
шению к Фишеру или к Хуберту она не чувствует себя прелюбодейкой, только из-за Хельги;
стоит вспомнить, с какой невозмутимостью выходила она из укромных уголков, из ванной
или из гардеробной, когда Блюм была тут же, рядом, и Кит в своей детской, а она с улыбкой,
подмазав губы, наскоро поправив прическу, как ни в чем не бывало шла к ним; дрожь, стоит
подумать, как деловито, с какой-то птичьей сноровкой, она оглядывала Хуберта, устраняя
следы своих поспешных ласк, и при этом сама себе дивилась – откуда в ней это, откуда она
все это знает, где, у кого научилась столь хладнокровно, как ни в чем не бывало совершать
то, что было, есть и во все времена останется прелюбодейством; откуда у нее эта повадка,
ведь ее никто ничему такому не учил, откуда же тогда «у нашей милой, славной, доброй и
верной женушки, у нашей пчелки, у нашего золотца», откуда у нее эта опытность, причем с
самого первого раза, когда она вышла из ванной, а Блюм перебирала на террасе салат? Видит
Бог, такого с ней прежде не случалось, с ней – нет, и тем не менее она с улыбкой кивнула
Блюм и спокойно пошла в сад, где все так же беззаботно играла ее дочурка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.